

НОВАЯ ПРОЗА

# ДОЛГАЯ НОТА

---

Даниэль Орлов



издательский дом

Выбор Сенчина

Даниэль Орлов

**Долгая нота. (От  
Острова и к Острову)**

«Издательские решения»

**Орлов Д.**

Долгая нота. (От Острова и к Острову) / Д. Орлов —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-859349-9

«Долгая нота» Даниэля Орлова — одновременно и семейная сага, и городской роман. Действие охватывает период от окончания войны до наших дней, рассказывая о судьбах русской женщины Татьяны и ее детей. Герои произведения — это современники нынешних сорокалетних и сверстники их родителей, проживающих свои вроде бы обыкновенные жизни как часть истории страны... Началом координат всех трех сюжетных линий романа стал Большой Соловецкий остров.

ISBN 978-5-44-859349-9

© Орлов Д.  
© Издательские решения

# Содержание

1. Я и Лёха	6
2. Татьяна	40
3. Валентин	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# **Долгая нота (От Острова и к Острову)**

**Даниэль Орлов**

Издательский дом «Выбор Сенчина»

© Даниэль Орлов, 2017

ISBN 978-5-4485-9349-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## 1. Я и Лёха

Уникальность этого придурка в том, что ему всё прощается. Прощаются выходки на днях рождений, деньги, занятые двадцать лет назад под стипендию, уведённые у друзей и сгинувшие в киселе времени любовницы, разбитые тарелки, раскачанные и сломанные стулья, забытые встречи, потерянные книги, звонки среди ночи и храп. Храп, от которого никуда не скрыться, даже если его источник в самой дальней комнате с закрытой дверью, опущенными шторами, отгороженный шумом колонки на кухне, музыкой из стереосистемы и тиканьем старых ходиков. Храп тоже прощается.

– Лёха, оставайся! Куда ты среди ночи?

Он лыбится, скалится, отводит глаза. Он лукав и сосредоточен одновременно. Останавливаю его, долго толкаюсь возле дверей, отнимаю куртку, вешаю в гардероб. Усаживаю за стол, ставлю чайник, наливаю водки.

– Мосты уже разведены, женщины спят, а мужчины, если не спят, то пьют. Посторонние злые мужчины. А я не посторонний. Я свой. Я стелю тебе в кабинете, а утром кормлю завтраком. Яичница с грибами и гренками. Кофе из страны Финляндия. Свежее полотенце. Душ.

И он остаётся и храпит. И утром курит на кухне. И на цыпочках пробирается по квартире. И шуршит курткой в прихожей. И возвращается с победным лязганьем замка и звоном пивного стекла. И опять курит на кухне. Я слышу, как он выдыхает дым вверх. Слышу шелест, это он листает томик японской поэзии, время от времени с хрустом переламывая переплёт. Я просил его быть аккуратнее с книгами, но он как Самсон, мечтающий разорвать пасть чужих правил и собственного страха. Я могу валяться в кровати и не спешить. Ему там хорошо среди сакур и самураев.

Неожиданно его понесло. Позвонил в понедельник уже из вагона.

– Куда это ты? – спрашиваю.

– Знаешь, надоело всё как-то. Валю на Севера.

– С какой целью?

– А без цели. Что найду, то и привезу. Если хочешь, присоединяйся. Бери на работе за свой счёт на недельку.

И ведь знает, сволочь, что я готов сорваться и сбежать. Столько раз с ним об этом говорили, планы строили. Но не сейчас. Сейчас никак. У меня отчёт по проекту. У меня с Иркочкой всё вдруг сложно. Отец с матерью к себе зовут. А это уже север – севернее не бывает. Ромка в больницу с воспалением лёгких попал. Халтура наклёвывается. Бред...

Вот так осядешь в городах, в каменных домах далеко от земли, в сухих жилищах с просеянной от камней землёй, где растут оливы, почти без воды. Прорастёшь по берегам рек, проносающих вчерашний день. Опоишь себя правилами, опутаешь законами. И, духа своего не стесняясь, живёшь от деда к правнуку. Что не так? Азия внутри. Скачет куда-то, гонит, подхлестывает.

И тому, как на грех, просторы приданы тысячами километров, чтобы мог русский человек сбежать от мыслей своих из дома своего, да так, чтобы забыть дом. Из конца в конец в вечном блюде паломничества, в зависти к свободе цыган, не имеющих родины, в ненависти к иудеям, делающим родиной любое место, где пришлось поселиться, в тоске по славянскому своему берегу, к которому никогда уже не пристать. Как же с такой тягой к побегу собрались в один народ? И что в том народе, кроме споров о том, куда идти? Раскидало семя по окраинам, оно взросло, а выходить некому. Лишь бедой да стыдом держимся. Век к веку в неверии и удивлении Богу своему, что не понимает язык, на котором с ним говорят. Может, не слышит он с того места, откуда кричим? Может быть, с той горы крикнуть, из-за того леса, с берега того озера или с холма на том острове? Может быть, там ближе до него?

И уходишь – уезжаешь в места без людей. Не для того, чтобы сказать, нет – сказать нечего, крикнуть да эхо услышать. Забираешься в чащи, в болота, в долгие белые дни. А всё одно – глоснешь от тишины, слепнешь от белого света и неба. И никогда не обжить эти края, как дикость эту внутри никогда не сделать пашней. Загадить, завалить железом и пластиком, но не сделать домом.

К четвергу меня уже знобит дорогой. Утром места себе в Иркиной квартире не нахожу. Чмокнул в щёку, сел в машину, но не на работу, а домой. Дома покидал в сумку свитер, рубашку, носки, пару футболок. Спиннинг у меня короткий, удобный, в жёстком чехле. Привязал его мотявочками к ручкам, поднял сумку – вроде удобно. Отогнал джип на стоянку, а сам в метро и на Ладожский вокзал. Думал купить билет на дневной, а получилось только на вечерний. И хорошо, что так. Всё правильно. Сдал шмотки в камеру хранения, поехал на работу. Кое-как уломал ребят, чтобы подстраховали на недельку. Раскидал письма, расписал все работы по пунктам, чтобы вопросов ни у кого не возникло. Покурил с шефом, пообедал с бухгалтершей. Вроде всё нормально. Куртуазно. За свой счёт. Срочно. Без объяснения причин.

В больницу к шести приехал. Натянул на ботинки голубые гондончики, прошёл на отделение. Ромка сидит на кровати и собирает конструктор. Худенький, бледный, вспотевший. Волосики ко лбу прилипли. Меня увидел, обрадовался. Я его передел в сухое, перевернул подушку. Очистил грейпфрут, накрошил в стакан, засыпал сахаром.

– Мама была?

– Была.

– Давно?

– Сегодня была, завтра придёт.

– Про меня спрашивала?

– Нет, не спрашивала. А ты принёс что обещал?

Я достаю из пакета коробку, передаю ему. Он смеётся, лезет обниматься. Мне кажется, что это он ко мне пришёл, принёс зефир, передел. И теперь я могу спокойно заснуть, взяв его за руку.

– Скучаешь здесь?

– Не-а. Мы сегодня смотрели мультики, а завтра с Пашкой будем рисовать весь день.

– Это хорошо. Скоро уже выпишут. Хочешь домой?

Он молчит, и я чувствую, что сейчас заревёт. Я всегда это знаю за несколько секунд, по тому, как у него чуть морщится нос.

– Слушай! Я совсем забыл! Тут такое дело...

Я ещё не придумал, что сказать. Но знаю, что нужно любым способом отвлечь его. Нельзя было про дом спрашивать. Он ещё в прошлый раз мне сказал, что хочет, чтобы, когда он вернется, там был я. Ну, а как такое сделаешь? Так уже нельзя.

– Я еду на Север. Путешествовать еду. В командировку. Что тебе привезти?

– А что там есть?

И верно, что там есть? Не копчёную же рыбу ему везти. Всё, что там есть, тому там и место. Это не перевозится. Это не живёт отдельно. Разве что иголки еловые, ракушка с побережья, окатыш с дырочкой. Но это надо самому найти, в карман спрятать, теплом своим согреть.

– Трансформера хочешь?

– Нет. А собаку можешь?

– Собаку мама не разрешит.

– А мы ей не скажем.

– Она сама узнает, когда собака залает.

Привезу ему игрушку красивую. Какую-нибудь большую, красивую игрушку. И он будет знать, что это «с севера». И пока он не подрастёт, будет думать, что там, «на севере», много игрушек и потому там хорошо.

– Дед Мороз всегда с севера игрушки привозит. Вот и я тебе привезу.

– Деда Мороза не бывает.

– Кто тебе сказал?

– Я сам знаю.

– А если он есть, а просто ты его не видишь?

– Если я его не вижу, значит, его нет.

– Помнишь, как он приходил на Новый год и подарил тебе железную дорогу?

– Это был не Дед Мороз, это был специальный дядя такой, который приносит подарки, потому что его просят родители.

– Возможно, что ты прав. Но где-то же есть настоящий. Иначе было бы неправильно.

Мы ещё болтаем, когда приходит медсестра делать уколы. Ромка странный мальчик. Он не боится уколов, не боится зубного врача. Ему почти шесть лет, но он не хочет в школу, не хочет быть лётчиком и не любит рисовать. Зато он умеет читать толстые книжки, лихо подбирает мелодии на детском электрическом пианино и обыгрывает маму в карты.

Медсестра у Ромки хорошая, внимательная. И вовсе не потому, что я в первый свой приход сунул ей пятьсот рублей. Наверное, зря я ей эти деньги всучил. Вдруг обидел? Я здороваюсь, встаю со стула. Ромка машет мне рукой – мол «иди уже у меня дела».

Ночью вагон, как спутанная бечевоной лошадь. То вздохнет, дёрнет, стукнет подковой о камень, а вот уже опять стоит, и лишь прожектор безымянной станции светит в окна плацкарта. Моя полка нижняя. Сверху свисает простыня – не мешает, но раздражает. Пока ехали, не раздражало. А как встали, так словно не простыня это, а лист оцинкованной кровли.

В дороге нельзя стоять. Дорога ритм теряет, распадается на части, кружит мыслями без цели, дребезжит под веками глупой песенкой. Той, что в кафе на вокзале, по радио, между второй стопкой водки и «американо» без сахара. И не слушал же, о другом думал, а словно нарочно учил. Два куплета в голове и мотивчик. И не уснуть. И не встать. И простыня эта.

Теперь точно уже не нагоним. Часа на три опоздаем, а может быть, и больше. Куплю молока и пирожков с яблоками. Буду сидеть на причале, есть пирожки и смотреть на море. И никуда не стану торопиться. Не стану забегать каждые полчаса к диспетчерше с вопросами про очередную катер. Для тех, кто смотрит на море, не существует времени. Позволение смотреть на море – это форма прощения грехов. В реальность этого моря надо прежде поверить, допустить его в свою душу и мысли, привыкнуть к тому, что оно есть. Море без кабинок для переодевания, лежаков и надувных матрасов, скутеров и чурчхелы, облепленной мухами. Море без объявлений «сдаются комнаты», без черешни в полиэтиленовых пакетах и кукурузы на пляже. Море, к которому приходишь либо поговорить по душам, либо умереть. Заснул.

В Кеми холодно. Ветер немилосерден. Пирожков не купить. Оба магазина на площади закрыты. Коричневая «четвёрка» с водилой, сухим и скользким, как густера.

– За двести не повезу.

– За четыреста не поеду.

– Иди пешком.

– Стой дальше.

– Бензин дорогой.

– Мир вообще несправедлив.

– Садись за триста.

Блатняк из магнитолы неведомый редактор словно специально подбирал к дороге. Здесь это к месту. Здесь этому можно. Тут джаз не прокатит, классика не услышится, рок не докричится.

– На Соловки?

– Туда.

– «Косяков» ушёл уже.

– Так будет же ещё что-то?

– Должно. Автобус за паломниками приехал, значит, будет. Отдыхать аль по работе?

– По работе, – зачем-то вру я.

Водила кивает. Если по работе, то как-то правильнее. Я же не отдыхать еду. И не в монастырь. Зачем? Хрен меня разберешь. Но не отдыхать.

Расплатился возле шлагбаума, подхватил рюкзак и пошёл к причалу. Издалека приметил зелёную рубку «Святителя Филиппа». Почему-то меня эта монастырская флотилия умиляет. Не могу себе объяснить. Катера вполне современные, построены в семидесятые. Но что-то в облике их такое, что кажутся они старше своих лет. Словно родились они на архангельских верфях уже стариками, чтобы сразу впасть в юродивость. А с юродивого какой спрос. Он от людей дальше, нежели от Бога. Потому коль не утопнуть вместе с ним, так вроде как милостыней одарить.

Примостился на корме за гальюном. Там не дует. Это на причале жарко. Как выйдем из бухты, так засвистит вдоль бортов. Паломники тут же на ящике пузырь распечатали, колбасу на газете режут, яблоки на четыре части. Треснули за отплытие, сразу по второй за «семь футов». Лица у всех чиновничьи, муниципальные. Обрывки фраз долетают. То про «зампреда» что-то, то про «этого хмыря из района», то про «суку Федотова, что никак на пенсию не спровадить». Шумные, весёлые, искренние в своей хмельной радости. Но как вкусно мужик впиивается передними резцами в толстый бутерброд с колбасой! А до этого пил, как целовал. Глаза прикрыты, в пальцах страсть.

Усатая морда нерпы появилась над водой совсем близко. Загомонили, заголосили, заохали. Куски булки полетели в воду, да всё чайкам.

Телефон звенит. Странное это чувство. Вокруг море, а телефон звенит. Здесь меньше электричества в воздухе, нежели в городе. Но и сюда оно пробралось вслед за короткими волнами, шипеньем чужих голосов и музыки.

– Ты где?

– Не поверишь. Верстах в пяти от Кеми.

– Где это?

– На Белом море.

Ирка смеётся. Хорошо смеётся, словно прощает. Не смех, а журчание. Ради такого смеха можно и дальше забраться, или вообще никуда с места не двинуться.

– Слышишь, чайки кричат?

– Слышу, как двигатель шумит.

– Слышишь чаек? Слышишь?

– Слышу. А ты надолго?

– Нет, правда слышишь?

– Правда, слышу. Ты надолго?

– Дней на десять. Извини, что не предупредил. Я и сам не знал.

– Ты не знал, а я знала. У тебя лицо такое было, словно сбежать собираешься. Думала, что от меня, а оказалось, что от себя.

– Не обижаешься?

– Уже нет.

Связь пропала. Сунул телефон глубже в карман, застегнулся под самый подбородок, капюшон на нос натянул. Качает, того гляди закемарю. На море туман, как морок, чайки сквернословят, пыль водяная на щеках. Ещё чуть-чуть чего-то простого, и впаду в ересь счастья. Отдыхать поехал? Нет. Может быть, в паломничество? Нет. Как назвать это перемещение во времени, когда идёшь от себя в настоящем к себе настоящему? Это что-то на санскрите. Слово какое-нибудь, которого и не выговоришь, а только выдохнешь из себя без звука. Вдыхая небо, выдыхаем землю. И не чернозём, а песок, суглинок, супесь неплодородную. Пусть берега из них себе море выстроит, мне это ни к чему. Меня от этого не больше.

Ирка с Лёхой поначалу общий язык не нашли. Пугал он её. Шумный, размашистый, словно всегда на ветру. Говорит громко, слова по всей квартире разносит, сквозняками на лестницу выдувает. А она не такая. Она как за верёвочку держится, ступает аккуратно, в глазах детство детское. Я её впервые увидел, так сразу беззащитность её почувствовал. А получилось так, что она меня защитила. Сидела на скамейке в парке. Рядом сумка вязаная огромная. На коленях книжка. Возле ног такса жёсткошёрстная, потешная. А я пьян был третий день. Мы с женой только-только развелись официально. По жизни ещё год назад как разошлись. Уехал я к себе и решил, что никогда больше не вернусь. В квартире ещё пусто было, книги перевязанные, диван бабушкин, трюмо старое, довоенное, за раму фотокарточка моя вставлена в школьной форме. Я когда по дурости квартиру продавал, всю мебель на помойку вывез. Из шкафов всё выбросил. Только диван да трюмо оставил. Я как в том трюмо отразился, так сразу понял, что напьюсь. И напился. И в этот раз напился. Вернулся из суда и напился. И звонил потом кому-то, что-то объяснял, убеждал, каялся. Потом засыпал, просыпался, стыдился вчерашнего звонка, опять выпивал, опять звонил. В конце концов просто вырвал телефон из розетки, из сотового аккумулятор вытащил – и в окно. Махнул сразу стакан, и как расстрелян. Сутки проспал. На душе так скверно, что знобит даже. Душ. Чай горячий. Кое—как себя в порядок привёл. Но всё равно колотит внутри, корёжит. Порылся по ящикам, аспирин не нашёл. Решил в аптеку сходить. Аптека прямо в доме, на первом этаже. Да вот только её ещё при бабушке на ремонт закрыли. Взял себя за шкуру, оделся, пошёл к рынку в аптеку Пелля. А на улице тепло, весной пахнет. Люди по Пятой линии прогуливаются, собаки по своим делам спешат, машин мало. Суббота, что ли?

Аптекарьша на меня посмотрела с участием. Дала аспирин. Предложила микстуру какую-то. А мне все равно. Я вообще с трудом понимаю, то ли с бодуна, то ли вправду заболел. В ларьке банку джин—тоника купил, две таблетки запил и понял, что не могу я домой идти. Совсем там загнусь. Вроде и мой дом, вроде прожил в нём жизнь после бабушки. А только место моё там, где Ромка, где стол мой, кресло перед телевизором, где полочки деревянные на кухне, моими руками сделанные, где шесть лет моих в обойном клее на стенах, в скрипе пружин тахты, в ляганье задвижки в ванной, в стёртом линолеуме в прихожей. И как теперь себя выдирать оттуда? В каких сумках уносить?

На углу в лабазе ещё банку пойла купил. Дай, думаю, в Соловьёвском садике посижу. Прошёл сзади Академии художеств мимо детей с колясками, мамаш с детьми, собак с мамашами. А в садике все скамейки заняты. Там компания какая-то с гитарой, там старушки, там мужики нетрезвые. Только у самой эстрады девушка одна на скамейке сидит, книжку читает. Собака рядом. Такса. Смешная такса. И девушка с лицом таким... С хорошим лицом. Вскинула на меня глаза, а в них опасение, что сейчас плюхнется рядом это чудовище. А ей так уютно было на солнышке, с книжкой, с собакой. Она даже по сторонам оглянулась, словно ища место, которое меня примет.

– Простите, – говорю, – не бойтесь. Я вам мешать не стану. Я просто посижу.

– Сидите, – отвечает, – вы мне не мешаете.

– Вы уж меня извините. Но правда больше сесть некуда. А мне очень тут нужно. Я недолго.

А она уже не отвечает. Уткнулась в книжку. Ногой собаку свою придерживает. А та носом кожаным ко мне тянется. И понимаю, что помешал я им здорово. Никак девушка на книжке сосредоточиться не может. Минуты три читает, а страницу всё не переворачивает. Тут замечаю, что смотрю на неё в упор беспардонно, кажется, не мигаю даже. Отвернулся. Банку с хлопком открыл и вдруг застеснялся этого хлопка, банки этой, вида своего. Закрыв глаза, чтобы себя не видеть, выпил. И слёзы из-под ресниц сами потекли. Да так потекли, что не остановить их. Закашлялся, рукой прикрыл лицо, а не могу сдержаться. Три дня держался, ни слезинки. Только сигарета за сигаретой, глоток за глотком. И всё. Кончился завод. Сижу как дурак на солнышке, плачу. Уткнулся локтями в колени, голову обхватил. И вдруг язык собачий: в нос, в глаза, в губы. Мягкий, тёплый, щекотный. Всё лицо мне вылизал. Нос кожаный сопит, глаза – две пуговицы мультяшные. А девушка меня за плечо трогает.

– Возьмите, – говорит и салфетку мне протягивает.

– Простите. Сейчас уйду. Простите. Честное слово, не хотел вам мешать.

– Всё нормально. Всё хорошо. Не волнуйтесь.

Высморкался, выдохнул резко. Головой потряс.

– Всё, – говорю, – спасибо. Что-то расклеился. Погода, наверное.

– Вам плохо? – спрашивает.

– Да уж. Не очень хорошо. Пройдёт.

– Что-то случилось?

А мне ведь выговориться нужно кому-то. И не друзьям-приятелям, не Лёхе, не родителям по телефону, а Кому-то. Если бы в Бога верил, то ему бы сказал, но только не знаю как. Не в церкви же говорить. Как там скажешь? Какими словами? Там теми словами, которыми говорить хочется, разговаривать нельзя. Не принято это. Тамлюдно, суетно. Там Бог словно бы на работе, словно на службе – до меня ли ему? Сам с собой внутри уже наговорился, по кругу мыслями в мозгу тропу вытоптал. По краям тропы траву пожёг. Всё в саже черной, в пепле.

Девочка эта меня лет на пятнадцать младше. Совсем ребёнок. Студентка, наверное. Тебе ли мою слабость видеть? Иди, милая. Иди, не спрашивай. У тебя ещё будут свои слёзы, ещё наплачешься, ещё посветлеешь глазами. Я уже нормально. Я уже в порядке. Я уже огого как!

– У вас что-то случилось? Что-то произошло?

Не выдержал. Заговорил, закашлял, слова с дымом из меня то вверх, то в кулак. Фразы с языка срываются, как парашютисты. Долю секунды назад страх. Нет! Разобьются! И вот уже ветер унёс. Освободились от меня, а я от них. И легко. И такса смеётся, как смеются только собаки – глазами.

Потом шли вдоль набережной. Мимо Меньшиковского дворца, мимо университета, где она учится, мимо института Отто, по Биржевому, по Кронверкскому, по Малой Посадской, по Чапаева. Потом сбегал с работы пораньше, чтобы встретить её после учёбы. Ждал в машине, слушал музыку. Потом тащил деревянные ящики с фруктами от вокзала: она со своей мамой впереди, я сзади. Потом провожал их вдвоём в аэропорту. Потом встречал её с ночного рейса и вёз через весь город, и стоял перед разведённым Троицким мостом. Потом Новый год в зимнем Сочи, с домашним красным вином. Потом бумажные кораблики вдоль по Карповке, беседка в Ботаническом саду, такса, которому надоело сидеть на одном месте и который дёргал меня за штанину.

– Не жёсткошёрстный он, а жёсткосердный!

– Дурачок ты.

– А он?

– И он дурачок. Два моих дурака.

И смеётся. Хорошо смеётся. Ручеёк звенящий.

Остров появляется, как всегда, неожиданно. Только что туман, плотный, как божье семя, а вот и солнце на куполах. Секунда – и уже бухта, глянцевого отпечаток с белой каймой стен. «Василий Косяков» у пристани, катера вдоль берега, у дока яхты борт к борту. Раньше яхт тут не было. Собор свежей побелкой фасонит, Купола заново перекрыты. Людей-то! Людей сколько!

Лёха встречает меня на причале. Вид у него местный, аборигенский, островной: треники, армейский бушлат поверх футболки, на голове выгоревшая кепка с эмблемой игр доброй воли. Сидит на лавочке, в руках коньяк, на горлышке бутылки пластиковые стаканчики. Я позвонил ему ещё из Кеми, разбудил, предупредил, что на «Косякова» не успеваю. Он понёс какую-то дичь, не то спросонья, не то с похмелья, но я не слушал, отключился: роуминг, дорого.

– Привет участникам Второй международной конференции работников деревом подрабатывающей промышленности! – орёт Лёха. – Молодая Россия ждёт от вас подвигов! Пламень ваших сердец согреет северные просторы!

На него косятся. Я машу ему рукой, косятся на меня. Но Лёху это только подзадоривает. Он вообще склонен к эпатажу. Как-то ещё на третьем курсе, зимой, он с микрофоном приставал к прохожим на углу Шестой линии и Среднего.

– Здравствуйте! Радио «Васильевский остров на средних волнах». Что вы можете сказать по поводу жестокого убийства Симона Боливара? Какую оценку вы дадите этому событию?

Провод от микрофона тянется к огромному, сверкающему хромом магнитофону JVC у меня под мышкой. Кто-то «не в курсе», но большинство опрашиваемых оказываются «гневно возмущены». Им тут же предлагают сдать по рублю в фонд помощи родственникам Симона Боливара. За пару часов насшибали кучу денег. Поехали в аэропорт. В тот же вечер улетели в Крым на выходные.

Схожу по трапу. Матрос подхватывает под локоть.

– Эй! Он уже на ногах не стоит? – Лёха ржёт.

Обнимаемся, бьём друг дружку кулаками в грудь. Он делает приглашающий жест к скамейке.

– Немного красного вина? Немного ласкового мая?

– Солнечного, – поправляю я.

– Июня, – уточняет Лёха

– Тогда уж коньяка, – смеюсь.

– Я ждал этого слова! – кричит Лёха и разливает по стаканчикам. – Хочу тебе сказать, что тут всё изменилось. Вообще всё. Туристов полно. Ощущение, что курорт. Анапа, мать её! Велопрокаты, гостиницы, приём платежей сотовых операторов. Думаю, что нам теперь точно куда-то дальше.

– Я же только приехал.

– Вот и хорошо. Пару дней тебе хватит. К Ваське зайдём, тётку Татьяну проведаем и свалим.

– Не был у них ещё?

– Тебя ждал. А если честно, не решался. Столько времени прошло! Боюсь, что не признают. Вон, у тебя борода, у меня лысина. И расстались тогда нехорошо, не попрощавшись. Ещё история эта с Киной...

Расстались мы действительно странно. Поплыли в Кемь на карбасе за продуктами и не вернулись. Семнадцать лет назад. Но кто ж знал, что так у нас получится. Молодые были, дураки. Потом всё порывались написать, на Новый год открытку отправить. Так ведь не послали.

Идём мимо монастырских ворот. Девочки-художницы этюды красят. Двое работают из траншеи камни наверх кидают. Тётки в платках, послушники в рясах. С пригорка группа туристов спускается. Перенаселение какое-то. Мимо дока с казанками и «резинками», мимо бывшей монастырской электростанции, на тот берег бухты. Двухэтажный деревянный дом, покрашенный суриком, напоминает опустившуюся помещичью усадьбу. Лохматый пёс на крыльце. Не то лайка, не то просто барбос.

– По двести в день всё удовольствие. Договорился ещё на пароходе. Тут сейчас никто не живёт. Старые хозяева квартиру продали, в Архангельск подались, а новые всё никак ремонт не доделают. Купили за пять копеек, а теперь не знают зачем. А я, представляешь, как раз с хозяином плыл. Он сюда плиту газовую вёз. Ещё выгружать ему помогал, потом пёр всё это расстояние, – Лёха оборачивается и проводит ладонью по горизонту. – Оказалось, правда, что не зря. За неделю вперёд уплатил – и живи, дорогой Алексей, наслаждайся! Сейчас увидишь, там хоромы просто. Не то что наш барак в Савватьево.

Переступаем через псину и входим в пахнувший сыростью и котлетами полумрак. Дом этот я знаю. Тут музейные жили. А раньше, в двадцатых, лагерное начальство обитало – офицеры с семьями. Теперь просто люди. Лестница в обе стороны. Ступени деревянные, перила крашенные. Кошачий корм в пластиковой тарелке. Лёха открывает ключом обитую дерматином тяжёлую дверь.

– Вэлкам ту зе хоум, камарад!

Кидаю рюкзак. Заглядываю в комнату. Два дивана, холодильник. На стенке календарь за две тысячи третий с модным певцом-педрилой. В кухне плита новая, стол. На столе тарелки с аккуратно нарезанными сыром и ветчиной, тарелка с маринованными огурцами, печенье. Салфетки в стаканчике. Солонка. Перечница. Лёха проявил чудеса гостеприимства. Иногда на него находит. А вообще, он лентяй. Дома у него что-то среднее между магазином электроники и пунктом приёма вторсырья. Раз в месяц приглашает уборщицу из своей фирмы, чтобы та за тысячу рублей разгребла его кавардак. После каждой такой уборки дня три Лёха вешает рубашки в шкаф, а грязные носки помещает в специальную корзину. Моет за собой чашки и вытряхивает пепельницы в мусоропровод. На четвёртый день, как правило, завод кончается. Выбегает из дома, не застелив постель и не убрав колбасу в холодильник, вечером приходит с кем-то из друзей смотреть футбол на своей «плазме», сжигает пельмени в кастрюле, проливает пиво и, уже успокоившись, перед сном швыряет грязную рубашку на шкаф.

– Дорогой друг! – Лёха поднимает чашку с коньяком. – Позволь мне выпить этот бокал просто так!

– Поехали!

Если выпить, то с ним нет молчания. Иногда мне кажется, что он боится тишины, как боятся её все, кто торопится жить. Ему необходимо ежесекундно сообщать действительности о своём существовании. Он словно отталкивается от каждого слова, как отталкиваются от воды, плывя саженками. Он отмахивается от тишины. Он готов менять вектор своего словесного движения и следовать за своими словами, иногда оглядываясь: – не отстали собеседники? Я отстаю. Вначале даже забегаю вперёд, заглядываю с глаза, смеюсь. Но вот уже фонетическая одышка, икота местоимений. Я не стайер разговора. Для меня эти дистанции невозможны. Плещусь где-то далеко сзади, иногда поднимая вверх руки, заметив, что он обернулся. Беги, Лёха, беги. Я срежу где-то тайной тропой, встречу тебя выдохшегося, раскрасневшегося, с последней полсотней граммов в чашке с отбитыми краями. Я подниму её за твою победу, за твою постоянную победу. Если смотреть на собор, то кажется, что шутник-декоратор специально придумывал коллаж. Сарай, заборы, жёлтый угол дома. Между рамами – братское кладбище насекомых. Потёки краски, фантики от конфет, пивная пробка. Оконное стекло не мыли несколько лет. Трещина. Кто смотрел в это окно? Хорошие люди? Скверные? Зачем они сюда? Как отсюда? Какими именами их называли жёны? Какими прозвищами их кляли в спины?..

– По последней! Чтобы были мы здоровы и неприлично богаты!

– Поехали!

Лёха выдыхает, дёргает небритым кадыком, фырчит, тянется за сигаретой, но лишь щёлкает пальцами над пачкой. Как выпьет, так забывает, что бросил. Иногда даже поджечь успевает. Сидит, смотрит на меня, как на результат своего труда – оценивающе, с гордостью, с удовлетворением.

– Ну, всё прекрасно, брат! Ты тут сам, а я пойду вздремну. Ключи на гвоздике в прихожей.

Интимность человеческого жилья. Хруст замка – хруст стариковских колен. Всю жизнь дом на корточках перед бухтой: сквозняки в коридорах, туман в вентиляции. Скрипит чем-то, гулкает, шепелявит. Не то испугать пытается, не то пожаловаться. Вздорный старик, мстительный, жалкий.

Помню другой дом. Амдерма. Улица Центральная. Раскисшая дорога к Пай-Хою. Крыльцо на балясинах, медная ручка двери, до которой так щекотно дотрагиваться, лишь сними варежку. «Би-би-си» из приёмника на качающейся волне. Пахнет борщом и касторовым маслом от отцовской куртки. Куртка на вешалке – коричневая, лоснящаяся, уютная. И ветер с Карского моря из-под штапика с дребезгом и руганью. Отец в клетчатой ковбойке, в брюках со штрипками, раскрасневшийся в жарко натопленной кухне. В зубах «родопи», очки высоко на лбу, что-то печатает на портативном «Консуле». Такая же кухня, комната. Прихожая, где я стою в углу, после того как сбежал смотреть медведя. Тоже Север, но море иное, люди другие, другая история. И дом будто старичок-проказник: спрячет под лестницей, подставит перила под выжигательное стекло, самолёт в окошке покажет. Лбом к его стенке прижмёшься, глаза закроешь: «От пятнадцати до трёх всех я знаю наперёд. Мне тут долго не стоять. Мне уже пора искать. Десять. Девять. Восемь. Семь. Оставайтесь насовсем. Пять. Четыре. Три и два. Открывать глаза пора!» Вон Лизкина куртка торчит из-за сарая: «Туки-туки. Палочка за Лизу!» Вон Серёжка Бубенцов опять в трубе. Пока вылезет, я успею добежать: «Туки-туки. Палочка за Серёжу!» Ладонью по досточке, по тёплой, по шершавой. И дом форточкой зайчики пускает, смеётся. Он глаза не закрывал, он видел, как Димка за дверь спрятался.

С этим не поиграешь. Разве что в карты на деньги, но с ним, что с уткой, – смухлюет, сдвинет, шестёрку сбросит. Того гляди разденет, по миру пустит. А может быть, и не так всё. Просто я пришлый, чужой, хрен с бугра, понтыра питерский. Да и нетрезв до полудня. Под нос мне тряпку кислую, дверь на пружине – пендель, гвоздём за локоток: «Подождите, гражданин! Вы к нам откуда? По какому делу?» Рванул локоть. Вырвал клоч. Отвянь! Сам кто такой? Вышел на крыльцо – он в спину дышит. Но нет у него власти. Стой, кряхти, смерди подвалом. Я свои права знаю: за неделю вперёд уплачено, не тебе меня колоть. Тоже мне, ветеран органов... И вот он уже сдал. Отступился. Пахнул котлетами, кошкой из окна сплюнул. Кошка серая, полосатая, деловая. На меня взглянула и в траву по своим делам: «Ну-ну, как знаешь. Ишь, какой обидчивый, гордый. Уж и поговорить нельзя».

А ведь и правда, совсем цивилизация: в магазине курицу гриль готовят! Продавщица смешливая, молодая, вниманием не обделена. Мужики похмелившиеся анекдоты ей травят. В углу телевизор новостями бредит. Мороженое, йогурты, колбаса, заморозки всякие. Одной водки два десятка наименований. Раньше только консервы по полкам стояли да хлеб кирпичиками. Помню, как мы тут яблочный сок в трёхлитровых банках брали. Пока Ваську с почты ждали, на брёвнах грелись, сигаретка на двоих. Банку открыли, отхлебнули, а там не сок, а вино молодое, чудо пищепрома. Спиртного на Острове в тот год не сыскать было, разве что бражку или самогон у кого, а тут вино кислое. Три литра за полтора рубля! В ушах щекочет, больше обманывает, нежели хмелит, но вино. Пока к себе доехали, растрясло на камнях, разморило на солнце. Вечером за водорослью идти, а тут и на берегу штормит. Васька нас из кузова сгрузил, к себе отвёл, уложил вповалку. В бригаде сказал, что мы молоком траванулись, животами маемся. Поверили, проверять не стали.

По совести сказать, в Ребалде были мы на хорошем счету. Работали лучше местных синяков, да и здоровьем отличались. Пока драгу потаскаешь, накачаешься. Организмы молодые, всякий труд на пользу. Слепень и на воде кусает. Не примеривается, налетает сразу – и в спину. А мы по пояс голые, «дэтой» умытые, бицепсы, трицепсы, кубики на животе. Девчонки из студотряда московского млели. Только-только пуки на берег перетащим, на проволоку покидаем, оседлаем велосипеды, и до Савватьево. Бешеной собаке семь вёрст не крюк. Мы же красавцы, гусары, струны рвём, про Крым голосим, про ветер и костёр. До трёх ночи иной раз на трезвую голову на одной своей дури. Утром же – карбас и «салаты стричь». Откуда только силы брались?

Стою в очереди, на курицу вожделяюсь. Вдруг звонок.

– Привет, мужчина! Приютишь у себя? Давно не видела тебя и любимый город. Скажи своей Ирине, что ты ангажирован до вторника включительно. Будешь моим эскорт-боем на выходных. Самоотводы не принимаются.

– Машенция, ты, что ли?

– Нет. Это певица Алсу. У меня третью неделю задержка. Папа-олигарх грозитя из дома выгнать. Я ему всё про тебя рассказала. Двадцать человек с автоматами уже выехали.

– Маш, я не в городе. Я на Соловках.

– Где?!

– На Белом море. На Соловках.

– Ого! Похоже, что всё-таки судьба мне там оказаться. Стой где стоишь! Никуда с этого места не отходи. Скоро буду!

– Да ты с ума сошла, – смеюсь, – тебе сюда добираться...

– Стой, я тебе говорю! Я уже разворачиваюсь. Через час буду в Шереметьево. Всё. Отбой.

Дурында! Сколько её знаю, а всё привыкнуть не могу. То она строительную фирму организовывает, то кино снимает, то в Твери предвыборную сочиняет: Шива шестирукий, в каждой руке по трубке телефонной. Подралась с полицейским в Турции, познакомилась с Барышниковым в Риме, в позапрошлом году чуть за грека замуж не вышла. Там вообще цирк. Он программист какой-то. Машка академку взяла, со всеми, кроме родителей, попрощалась. Мне даже позвонила. Грек родственникам рассказал, свадьбу назначил. Поехал с сестрой знакомить, так она в сестру ту влюбилась и укатила с ней обратно в Москву. Грек следом прилетел, возле подъезда их дождался. Машка же, поганка такая, в милицию позвонила, сказала, что маньяк её сутками караулит, проходу не даёт, на непонятном языке говорит. Беднягу десять часов в обезьяннике продержали. Потом фотографию его мне показывала. Молоденький совсем, невысокий, лицо длинное, глаза чёрные, глупые, как у скотч-терьера. А сестрёнка чудо, таких в кино снимают. Студенточка. Впрочем, обоих она спровадила.

И легко у неё всё. Всё между дел. Всё словно так и надо, словно живёт она не от весны до весны, как все в наших широтах, а своим, иным ритмом. Ей ещё только пятнадцать исполнилось, а она уже в университет поступила. Вундеркинд. Вандерчайлд. На кафедре роман с доцентом закрутила. Да так лихо, что тот от жены ушёл, или жену прогнал. Или не прогнал, а просто у них как-то всё слишком бурно стало происходить. Доцентова жена вроде как на факультет прибежала. Истерики. Слезы. Угрозы какие-то. Опять слёзы. А Машкин отец там замдеканом. Вытащил дуру с лекции, прямо в кабинете у себя всыпал указкой по худой попе и пригрозил отчислить. Потом доцента вызвал, что ему говорил, не известно, но адюльтер после того прекратился. Это всё, правда, с Машкиных слов. Она тогда на отца обиделась, в Питер сбежала – моя бывшая ей тёткой приходится. Ромка полгода как родился. Пелёнки, подгузники. А отношения уже странные: лукавства, звонки, глаза в сторону. Машка смотрела-смотрела, а через неделю заявила, мол, влюблена в меня по уши. Переводится на местный филфак. Ей, дескать, и место в общаге уже готово. Жена, не будь дура, купила ей билет и сама отвезла на вокзал. Что характерно, попало мне. Машкина мнимая влюблённость мне в каждом скандале потом

припоминалась. Потом, конечно, случилось и у нас с ней что-то такое глупое, но всё не все-рьёз, от отчаянья.

А как я боялся её с Иркой знакомить! Скрывался, что подпольщик. Двадцать третьего февраля звонок в дверь. Как на грех, Ирка у меня. Открываю – на пороге эта коза с огромным букетом лилий.

– Дорогой, мне всё равно, что у тебя с этой женщиной, но ребёнка я хочу только от тебя!

Оборачиваюсь на милую свою, а у той глаза в полнеба. И небо то растерянное, опрокинутое. Машка просекла, что переборщила, букет мне сунула, сама к Ирке бросилась, обняла, затараторила.

– Я передумала-передумала! Вы прекрасны-прекрасны! Бросайте-бросайте этого бородатого хмыря, и со мной на фестиваль в Венецию! Там солнце, климат средиземноморский, там место для любви и жизни. Мария я. Это имя такое. Мария. А ваше имя дома у нас используется для названия счастья. Простите-простите! Я сама не местная, с созвездия Девы. Сюда по ошибке. Нас тут двадцать семей, все на Московском вокзале. Ждём, когда распределят.

– Не верь, любимая! – кричу. – Не с созвездия Девы она, а с Альдебарана. И не двадцать семей там, а все сто. Скоро плюнуть будет некуда – попадёшь в альдебаранца или в альдебаранку.

Ирка заулыбалась. Что-то в ответ пошутила. Но весь вечер нет-нет, да поглядывала на незваную гостью, пока та шлялась по квартире в моей рубашке вместо халата. Когда же «инопланетянка» угомонилась (предварительно истоптав клавиатуру компьютера и уничтожив содержимое холодильника), Ирка мне на ухо: «У неё что-то случилось. Ты бы помягче с ней». А что с ней могло случиться? Очередная любовь, очередная душевная травма – истерика в стиле «танго». Она на год Ирки младше. Но у Ирки диплом только следующим летом, а эта уже в прошлом мае защитилась. Пижонит. Зарабатывает не меньше моего, а то и больше. Именами-фамилиями сыпет, посмеивается, глазки закатывает. Девчонка-девчонкой. Смешная, угловатая, очки на кончике носа «под училку», веснушки, челочка, ушки торчат. Ирка её слушает скорее из вежливости, сама о чём-то своём думает. Но улыбается. И на том спасибо. Мне только скандалов не хватало.

Сидим на тёплом шершавом камне. Я и курица в бумажном пакете. Я курю, курица пахнет. На другой стороне банного озера девочки купают собаку. Они намыливают её шампунем так, что собака превращается в комок манной каши, а после сбрасывают с мостков. Собака барахтается в воде, плывёт к берегу. Забирается на мостки, трясётся от ушей и до хвоста. По озеру плывёт пена. Смех. Крики. Лай. Мужик удочку закинул, рыбу ловит. Давно стоит. Закинет, вытащит, наживку поправит. Опять закинет. Напрасно, мужик, время тратишь. Нет в этом озере рыбы. Дышать ей здесь нечем. Вдоль стены группы туристов. С пригорка мимо башни стадо коров, как процессия из Гамлета. Медленно. Неотвратно. Оперно.

АН-24 с наглым воем идёт на посадку. Вспомнил, что никогда не был в местном аэропорту. Интересно, какой он? Какое-нибудь распластавшееся на камнях сооружение под жёлтой штукатуркой. Зал ожидания с рядами деревянных кресел. На креслах ножом вырезано «Митя и Оля. Соловки 2000» Нет. Неинтересно. Не пристало этому месту чего-то ждать с неба кроме дождя, снега и ангелов. Оксюморон. Или я просто ревную небо к самолётам? Ну, правильно: не умеешь любить, не смей и ревновать. Да и какая любовь? Растерянность одна. Монастырь для меня – всё тот же музей. Все тропинки внутри исхожены, все ступеньки нажаты, как клавиши. Когда шли утром мимо ворот, почувствовал, что нет для меня внутри места. Что там теперь? Туристы и братия. У одних любопытство, у других подвиг. А мне с которыми?

На мой прошлый день рождения Лёха с Биржевого моста сиганул. Все уже разошлись, только он да барышня его очередная задержались. Барышня весь вечер молчала, ресницами

хлопала да кукурузу из салата вилокй выковыривала. А у Лёхи песни, у Лёхи стихи, у Лехи голос, как у рок-певца из кассетного магнитофона. Нота к ноте и под потолок, аж пыль с лепнины сыпется. Ирка с ногами в кресло забралась, такса обняла, слушает. Соседка зашла «на послушать»: стопочку за стопочкой, огурчик, пирожок. Кивает, зарумянилась. А барышня, гляжу, мается. Стыдно ей за кавалера. А может, и за себя, что вроде как не знает, где регулятор громкости, где перемотка. Наконец засобиралась, в телефоне кнопки нажала, в сумке своей закопошилась. Словно поводок к ошейнику пристегнула, тянет. Лёха пошумел, руками помахал, тост произнёс, но всё равно сдался. Вышли проводить их, прогуляться. Соседка увязалась.

На улице туман, морось. Фонари запонками. Машины за мост что окурки закатываются. Компании вдоль всей набережной ждут, когда разводка начнется. Вспышки, стекло бутылочное под ногами звенит, девицы с независимым видом из кустов порхают. Час ночи, а суета, радость.

Смотрю, выдохся друг мой, сник. Барышня, напротив, раздухарилась, вещает что-то, смеётся. Ей Лёхино молчанье на пользу, чуть ли не пританцовывает. Соседка вторит. Идут спеди, кудахчут. Как первый пролёт миновали, Лёха меня за руку.

– Думал, что обойдётся. Ещё утром решил, что не буду, а чувствую: нужно.

– Не понял, – говорю, – что нужно?

Он сумку мне в руки. Брюки скинул. Рубашка джинсовая на кнопках дробью выстрелила. Руки в стороны, вверх. Качнулся. Присел. Плечи развернул. Подтянулся и на парапет. Люди только ахнули. А он замер на миг атлантом, выдохнул громко и вниз, вслед дыханью. А вода чёрная, тяжёлая, в бурунах. Проектора в глаза бьют, ни рожна не видать. Морось.

– Вон он! Вон! Вынырнул! Вон голова! – Как на салюте. Задние подпирают, им не видно. – Плывёт!

– А кто это?

– Парень какой-то прыгнул.

– Как прыгнул? Где?!

– Вон, плывёт к Петропавловке!

Уже из виду его потерял, но голоса то слева, то справа:

– Вон-вон! У самого берега уже!

Захлопали, засвистели, закричали. Выбрался —доплыл. Силуэтом вдоль стены промелькнул, тенью по камням. Ветром через шлагбаум.

– Мужчина, остановитесь!

– Некогда мне. Мёрзну.

– Мужчина!

Куда там. У охранников иная работа, им проблемы не нужны. Ну, прошёл мимо мужик в трусах, вода с него капает, – так не в крепость же, в обратном направлении. В обратном можно. В обратном хоть бегемота на шлейке ведите, слова не скажут. Что возьмёшь с такого? Денег в трусах не схоронишь.

Тут и мы подбежали. Рубашка. Джинсы. Туфли.

– Холодно?

– Терпимо.

– Течение сильное?

– Ерунда. Дип Пёрплом над водой пахнет. А вы орать, однако. Подумал, что мне вслед броситесь. Спасай вас потом. А где?..

Оглядываемся. И точно! Нет её. Ушла, сгнула. Не то на мосту, не то раньше. В гордости своей растворилась. А эта сволочь лыбится. Счастливый. Дурной.

Пока я курицу покупал да на солнышке медитировал, Лёха перед домом снасть развесил. Через полметра поводочки с жестянками, как гирлянда новогодняя. Жестянки на ветру кача-

ются, зайчики солнечные во все стороны. Пацанята местные велики свои побросали, на дровах примостились, советы дают. Лёха их слушает, переспрашивает.

– Сюда грузики? А тут узелок контрольный? Не коротковато будет? Не крупные крючки?

Мальчишки в роль учителей вошли. Ещё бы! Дядька взрослый, лысый, а мнением их интересуется. Тут все секреты раскрываются, все тайные места сдаются, все приметы. И про ветер, и про течения, про балки и грядки подводные. Во сколько выходить, куда идти, да с какой стороны троллить, да на какой скорости. Всё, что от родителей слышали, всё как на экзамене. Весомо говорится, как бы лениво, с достоинством. Я подошёл, на меня зыркнули с недоверием – как бы не разрушил идиллию, как бы не ляпнул чего. Нет-нет, ребята, не бойтесь. Я не сам по себе. Я с ним. Он капитан, я матрос-практикант. Мне тоже послушать полезно.

– А что, – интересуюсь, – на воблера не идёт?

– Кто?

– Ну, хоть кто-то. Селёдка, например.

Мальчишки крутят пальцем у виска.

– На воблера разве что треску. Селёдка – та на крючок блестячий. И не время для селёдки ещё.

– Когда ж время?

– В июле, в августе.

– А сейчас?

– Сейчас тоже можно, но не так. Мы с дедом в июле пять мешков тягаем. Сейчас не так. Вон ему рассказали, – пальцем на Лёху, – посмотрим, что наловит.

– На каникулах здесь?

– Живём. – Снисходительно, с превосходством. Важные. Хранители традиций. Местные. Этот остров их: от бухты Благополучия до Ребалды, от Ребалды и до плотины. От первого подзатыльника до первой украдкой выкуренной сигареты. Им даже не интересно, кто мы. Мало ли тут пришлых шляется.

Сижу на пирсе, жду катер. Кремль на закате, как партия в шахматы – проигранная и оставленная стоять на доске в назидание потомкам. Хоть сотню раз вокруг обойди, а не поймёшь, какой фигурой мат поставлен. Видимо, на другой доске искать надо. Не здесь, и даже не на побережье середь треснувших маковок забытого гамбита. За души играли, а получилось, что на деньги. Одним теперь вечно долги отдавать, другим каяться.

На Белом море всякий звук одинок: будь то бурчание мотора, будь то благовест. Ни в один аккорд те звуки не поставишь, как не старайся. Вывернул карманы, вытряхнул монетки, крошки, свёрнутые в трубочку бумажки, скрепки. Накормил тишину с ладони. Слетелась тишина плесками, собачьим лаем, чайкой, подхватила подавание и в небо. Сел на доски, руки на коленях, спина прямая. Мысли прочь гоню, ищу внутреннего безмолвия. Йог интегральный. Дурак на берегу. То нос зачесется, то в боку заколет, то зевота от скул пойдёт. Греки сбондили Елену по волнам, ну а мне – солёной пеной по губам... Откуда это в голове? Ой-ли, так-ли, дуй-ли, вей-ли, всё равно. Ангел Мери, пей коктейли, дуй вино... Сейчас приедет «Ангел Мэри», сейчас ворвётся. Полтора часа назад звонила из Кеми. Реактивная моя, интегральная.

Лёха остался рыбу жарить. Выловил-таки, но не селёдку, а треску. Две огромных рыбины. Упорный. Восемь часов на воде провёл. Лоб обгорел, нос обгорел, руки обгорели, губы обветрились. Мотора ему не дали, как не просил. Денег в залог предлагал – не взяли. Хорошо, хоть лодку надыбал. Ушёл на вёслах, все руки стёр. Прислал сообщение на телефон: «готовь сковородку, возвращаюсь». Вернулся взъерошенный, шумный. Пока до дома шёл, со всеми встречаемыми переговорил, не то хвастал, не то жалился. Не поймёт, удача это либо провал. Местных не расколешь – взгляд ленивый, а туристам что селёдка, что треска, что навага: «Смотри, Мишенька, дядя рыбку поймал!»

Я с Лёхой без мотора идти отказался – укачивает меня. Захватил из квартиры одеяло, расстелил у самого шлюза. Ворочался на солнце, катал во рту орешки и читал найденный в квартире детектив. Никогда детективы не читаю, а тут не оторваться. Сюжет никакой, предложения как из фанеры вырезаны, понимаю, что ерунда, но читаю. Видимо, это нервное. Мозг на холостых оборотах перегревается, воду в него залить надо, вот и заливаю. Этот ему хрясь, тот ему бах, из машины боевики, с вертолётá спецназ. Майор предатель, жена героя наркоманка, полковник из центра – не полковник вовсе, а шпион. И только герой – настоящий: бьют его, жгут, взрывают, а он всё никак не даётся.

Даже когда в госпитале с ранением лежал, и то на такую муть не зарился. Драйзера прочёл всю трилогию, Мориака, Пруста. По тому в день проглатывал. Сестра мне перевязку делает, ногу бинтует, а я страницы переворачиваю. Будь на месте этой старой клизмы кто помоложе, может быть, и не до чтения было бы, а так буквы, слова, предложения, первая глава, десятая, эпилог, – следующий! Главврач, подполковник, как-то зашёл с обходом, на тумбочку мою взглянул, а там книги стопкой. У всех остальных как у людей: кроссворды, сигареты, бутылки из-под кефира, а у меня книги. Головой покачал, температурный лист посмотрел, ушёл. А через десять минут вернулся, принёс мне лампу настольную и роман-газету с Айтматовым.

Прапор из роты охраны за три рубля на станке железо, что из нас вынимали, просверливал, медальоны делал. Если цепочку хочешь, ещё пятёрку гони. У кого автоматная пуля, тому хорошо – аккуратненько, у кого пистолетная (экзотика), так он молоком плющил, а у кого осколок, острые края надфилем обтачивал. Все себе заказали, один я, как мудака последний, завернул в подшиву, денег пожалел. Решил, что не поеду домой в форме, куплю какую-нибудь «гражданку». Парадку-то мне из части прислали, да не мою. На размер больше и не новую. Совсем не дембельская парадка, позорная. А из госпиталя вышел, в универмаг зашёл, так всё в книжном отделе и оставил. Средняя Азия, вокруг песок и говно, а на полке трёхтомное репринтное издание толковой Библии Лопухина. К тысячелетию крещения Руси издана. Красивая, переплёт дорогой, бумага рисовая с иллюстрациями. Так и ехал домой пугалом с красным дерматиновым дипломатом, в котором зубная щётка, бритва, Библия, дембельский альбом недорисованный и осколок восьмидесяти двух миллиметровой мины в подшиве. Ощущал себя миссионером. Подданным Её Величества. Термез-Петербург-Лондон транзит.

Как уходил в армию – помню, а как возвращался – нет. Ни вокзала не помню, ни дороги домой. Встречал меня кто, обнимал, плакал? Выключено. Потёрто. Уже декабрь, сессия скоро, а меня восстановили. Пришёл на лекцию по математике. На доске формулы, закорючки какие-то, интегралы. А я ничего не понимаю, не соображаю. Раскрыл тетрадку и под темой занятия печатными буквами вывел: «Хочу быть прапорщиком». Так я ту математику и не постиг. В деканате пожалели, уговорили преподавателя, поставил мне четвёрку. И Библию так ни разу и не открыл. Стоит на полке за стеклом. Красивая, основательная, респектабельная.

Время от времени поглядывал на дорогу. Послушники туда-сюда ходят, туристы, велосипедисты, собаки то по одной, то стаями. У всех свои мотивы движения. А я в стороне, на завоеванном одеялом берегу и благодаря этому одеялу вписан в декорацию, зачислен в штат с испытательным сроком.

Пока страницы мусолил, день и скончался. Последнюю страницу перевернул, сплюнул в камни кислятиной, поднялся с земли. Тут как раз Лёха с уловом.

– Ты посмотри, какие лапти!

– Браконьер.

– Никак нет, вашество! Честная снасть. Натуральное единоборство со стихией. Хемингуэй в чистом виде. Так бились, думал, что лодку перевернут. Сгинул бы в хладных волнах под колокольный звон.

– Что-то маловато словил.

– Тебя не поймёшь. То «браконьер», то «мало словил». Уж определись. По мне и эти две прекрасны, тем паче что мы больше не съедим. Или эта твоя московская герлица отличается изрядным аппетитом? Если бы предупредил сразу, я бы динамит захватил или сеть. Вообще, я сейчас выступаю в роли добытчика, мужчины, охотника. А ты со своими, – Лёха наклонил голову и прочёл название на обложке, – «похождениями художого» вообще имеешь право только сторожить наш сон у входа в пещеру.

– Это чей это «ваш»?

– Мой сон охотника и сон моей женщины, которую я украду из соседнего племени для рождения здорового потомства.

– На баб потянуло?

– Всё ясно. Книжку ты себе выбрал соответственно интеллекту.

– Послушайте, мужчина-добытчик, в вашем каменном веке дуэли уже распространены?

– В нашем веке распространены обычаи чистить рыбу тем, кто не ходил на промысел. И обычаи эти не обсуждаются. Или дуэль? Вместо дуэли скоблил рыбу на берегу, кидая кишки и головы в море. Не уверен, что это правильно. Требуха болталась у самого берега, портя глянец бухты. Но вылавливать уже было поздно – не лезть же за ней в холодную и мокрую воду. Не поднимаясь с корточек, огляделся. Вроде никто моего безобразия не заметил. Ну и ладно тогда. Ничего страшного, смоем всё.

Подошёл небольшой частный катер с десятком пассажиров. Машка прыгнула на пирс первой, молча вручила мне сумку, чмокнула в щёку и, ни слова не сказав, быстро пошла по настилу. Я некоторое время постоял, ожидая, что мне помашут рукой, но она проскользнула мимо ряда опрокинутых лодок и скрылась за ангаром. Когда с сумкой на плече я выбрался на дорожку, она уже поднималась на холм.

Вот ведь коза! Опять какая-то игра. И идёт так уверенно, словно знает куда. Не удивляюсь, что у неё вечные проблемы с поклонниками. Редкий мужик сможет принять эти эмоциональные импровизации. В её сутках двадцать четыре обиды и двадцать два примирения. Вечно отрицательное сальдо в её пользу. Ровесники с этим редко мирятся, страдая, ревнуя и учиняя выяснения отношений. Она всякий раз выметает из своей души все следы пребывания там посторонней воли, прибывая на стену очередной скалып. Это Саша, это Роберт, это ещё кто-то. Все, кого я видел, были субтильны и нервичны. Сама она таких мальчиков находит или это они к ней липнут, не знаю. Впрочем, влюбляется она всегда честно и навсегда – удивительное качество.

Сидит на камне неподалёку от входа в Кремль. Руки на коленках – школьница-переросток. Впрочем, почему переросток? Её, поди, ещё в кинотеатр по детскому билету пускают.

– Привет!

– Здравствуйте.

– Как тебя зовут, девочка?

– Меня зовут Маша. Я приехала из Москвы. Меня укачало, и я заблудилась.

– Ну, пойдём, Маша, раскатаю тебя обратно и отблужу. – Я смеюсь: – Похабненькое предложенище получилось.

– Нормальное. Слушай, ты можешь мне пообещать три вещи?

– Хоть четыре. Излагай.

– Три «НЕ»: мы не будем трахаться, не будем рано вставать и мы не будем говорить о Боге. Хорошо? Обещаешь?

– Первое можно было даже и не упоминать, как абсолютно исключённое.

– Все вы так говорите.

– Заниматься сексом с бывшей родственницей – это извращение и инцест.

– Подумаешь, какая цаца! Раньше тебя это не смущало. А вот захочу и будем.

– Машка! Прекрати сейчас же. Вставай и пошли. Нас уже Лёха заждался.

– А кто у нас Лёха?

– Мой друг.

– Опаньки. У нас тут ещё и друг какой-то. Ты теперь из «этих», что ли? Что годы с людьми делают... Что делают...

Я сделал вид, что собираюсь дать ей подзатыльник. Машка с визгом вскочила и, хихикая, побежала по дорожке, чуть не сбив выходявшего из ворот молодого дьякона. Тот успел отпрыгнуть, притворно вытер со лба испарину и заулыбался.

– Дочка?

– Хуже. Племянница бывшей жены.

– Тогда аккуратнее.

– Куда уж аккуратнее. Но за совет спасибо.

– На исповедь сюда или так?

– В отпуск.

– Одно другому не мешает.

– Вы тут всех грешников у ворот караулите?

Дьякон заулыбался пуще прежнего.

– Не всех. Только тех, кто сам под ноги бросается. Если решитесь, приходите. Только натошак и не пейте ничего спиртного накануне.

– Это как кровь сдавать в поликлинике на биохимию. Там те же рекомендации.

– Тут не сдавать, тут менять её на Христову. Приходите.

Я поблагодарил и побежал вслед за Машкой, крича ей, что не туда свернула. Догнал, шлёпнул по попе, взял за руку и повёл по тропинке к дому.

– Что хотел служитель культа?

– Хотел изгнать из тебя бесенят, но потом решил, что во всём монастыре ладана не хватит.

– Это правильно. Мои бесенята! Я их по всему миру в оркестр собирала не для того, что бы в этом климате бросать. Они тут захиреют, скуксятся.

– Жалко?

– Очень!

Лёха возник на пороге квартиры в тельняшке, фартуке и с шумовкой в руках. Для завершения образа корабельного кока не хватало только шапочки.

– Прошу к нашему столу, о девушка Мария из далёкого города Москва! – пропел он басом.

– Не Мария, а Марина, – игриво пропела Машка. – А вы, стало быть, и есть тот мифический Лёха?

– Что ты ей про меня наплёл? – Лёха нарочито строго сдвинул брови.

– Только правду, мой друг! Только правду.

– В таком случае прошу отужинать с нами. Сегодня алемантер бон кюве из свежепойманной трески.

Машка захохотала. Обняла Лёху и чмокнула в небритую щёку.

– Алексей, вы чудо! Что это вы такое сказали?

– Не знаю, но мне кажется, что по-французски. А что? Звучит вполне аппетитно.

– А пахнет как... Всю мою укачалость этим запахом сразу выгнало. Ведите же скорее к столу!

Рыба и вправду оказалась восхитительна. Лёха натёр её специями, переложил луком и запёк в фольге. В качестве гарнира он нажарил целую сковородку картошки с укропом. Стол накрыл красной бумажной скатертью. В центре – бутылка «Абсолюта». Вместо давеш-

них кружек стоят хрустальные стопки. Салфетки аккуратно заправлены под тарелки, приборы у каждой. В большой алюминиевой миске нарезанные розочками яблоки. В довершение всего посередине стола горела свеча, укрепленная в импровизированном канделябре из загнутой спиралью куска толстой проволоки.

– Вот это я понимаю! Класс! Учись, дядюшка! – Машка дала мне пендель и прошмыгнула в угол. – Самая крутая сервировка на всём побережье Белого моря. Точно. Удивили Вы меня, Алексей. Я, если честно, ожидала увидеть бутылку портвейна, пельмени, банку зелёного горошка и шпроты.

Разговаривали о ерунде, пили «по маленькой». Лёха что-то про Каракумы нёс, про верблюдов. Вспоминал своё детство на границе с Китаем, байки травил. Да и Машка раздухарилась, расчирикалась, кокетничая то с Лёхой, то со мной. Пыталась было по своему нынешнему обыкновению рассказывать о персонажах из телеящика, но, не найдя в Лёхиных глазах узнавания имён, перевела тему на своих мальчиков. Все у неё прекрасные. Все талантливые, гениальные. Все её любят, хотят, плачут и умоляют. Стихи ей посвящают, картины пишут. Лёха на «стихах» напрягся. Словно собственный взгляд слотнул и подавился. Зажигалку в пальцах завертел. Пальцами защёлкал.

– ...компания очаровательная. Ваши питерские интеллектуалы. Там такие мальчики! Очень умненькие. Очень хорошенькие. Там столько всего в них хорошего! Даже не знаю, в кого и влюбиться. Придётся, видимо, во всех по очереди, но понарошку.

– Не люблю интеллектуалов, – неожиданно выдохнул Лёха.

– Что вдруг?

– Неважно. Не люблю и всё. Враньё сплошное.

– Алексей, – Машка курила очередную сигарету от поданной Лёхой зажигалки, – отчего же? Хорошее образование, хорошее воспитание, разве это плохо? Тем более что это я их мальчиками называю, а им уже под тридцать.

– Ого, – говорю, – просто дедушки, а не мальчики.

– Не иронизируй, дядюшка! Так что у вас против интеллектуалов, Алексей?

– Трендят они много. – Лёха щелчком выбил из пачки сигарету и всё-таки закурил. – Всякий раз пытаются мир под какую-то схему подогнать. Перебирают, комбинируют. Словно бы внутри формулы находишься. Зазеваешься, а тебя уже за скобки вынесли, поделили, интеграл взяли, бирку нацепили – и на полку. Бодрийяр—хулияр. Я как слышу это всё, так сразу нарываться начинаю. От их словесного поноса у меня в мозгах вонь. В общаге, в комнате на полке пятнадцать томов стояло: Лосев, Юркевич, Флоренский. Франкл вместо подставки под чайник, Берн под ножкой кровати. Интересно? Не то слово как интересно! Я даже на практику с собой брал читать. Возраст такой: от восемнадцати до двадцати. Верить, что в книжках мудрость какая-то, истина. Ещё не научился мир напрямую познавать, не через слово. От абстракции к абстракции. А потом это проходит. У нормальных людей это проходит, как прыщи. Когда же взрослые мужики при мне начинают гнать эту муть, я вижу, что нет в них ничего. Пустота и понты. Им никто не даёт, вот они и ловят на эту кашу малолеток. А вы ведетесь. Там тухляк сплошной и гонорей. О чём они разговаривают? Это не разговоры, это домино и перемигивание. Слово им поперёк не вставь. И где тот поперёк? Там же не река, там меандр. Ах, вы не понимаете! Ах, вы не владеете терминологией! Ах, вы примитивны! А мы все такие, бля, сложные, такие герметичные. Разговор о киношке какой-то заведут, о говне посмодернистском, так и здесь сплошные консервы из языка. Километры плёнки изведены, чтобы показать, как человеку хреново трахать одну и ту же бабу изо дня в день! А у них тут «имплицитно-репрессивные техники, социогенетические средства, самоотжественная субъективность»... Я это слушаю и зверею. Предметная навигация у персонажей, дескать, нарушена, точка сборки равноудалена от границ не помню уже чего. Как можно столько слов высирать в минуту?

– Лёха, некуртуазно! – я поперхнулся яблоком.

– Да прекрати ты! Это же болезнь. Была у меня подруга, у которой все приятели такие. Собирались на кухне, водку мою жрали, когда их чекушка текилы заканчивалась. И вот так – часами. Часами! Сперва меня это веселило, потом я начал ощущать свою неполноценность. Чуть сам себя не выжрал изнутри в самокопании и ничтожестве. А потом однажды выгнал их всех вместе с подругой. А тому, кто упирался, начистил бубен. И всё сразу стало хорошо. И никаких рефлексий. Вот так. Поехали! – Лёха вкусно опрокинул стопку, хлопнул ладонью по колену и сочно, одними губами принял нежную мякоть трески. – Ценность людей не в их умении складывать малопонятные слова в предложения и надувать щёки. Восточные мудрецы вообще мало разговаривали – больше молчали. А болтает чаще всего глупость и пошлость.

– Красиво излагает, бродяга! – Я поднял стопку. – Предлагаю не ссориться, а простыми словами выразить нашу с тобой, Лёха, радость от того, что в эту прекрасную белую ночь, посреди Белого моря скромную мужскую трапезу разделяет прекрасная девушка, которая терпит наше сквернословие, нашу необразованность, серость, тупость, отсутствие должной галантности и предупредительности. И скажем ей теми же простыми словами, что если бы не она, мы бы уже спали, напившись до фиолетовых скворцов. За тебя, Машенция!

Лёха достал из холодильника вторую бутылку, и нам вдруг стало тесно на кухне. Распихали по карманам яблоки и вышли на улицу. Прошли мимо террикона свеженаколотых дров, мимо налитых росой простыней, мимо остова армейского грузовика, нырнули в цветочное безумие у здания школы, вынырнули у ржавого шлагбаума, закрытого на замок. По камушкам перебрались через смущённую отливом бухточку, зачавкали по влажной небритости берега краем узкого как подиум мыска. Туда, где у самого моря в экстазе языческой пляски корчились чахлые северные берёзки.

Среди камней тревожился дымком забытый кем-то костер. Лёха набрал плавника, бросил на угли. Костёр зашипел, словно набирая воздуха, хлопнул в невидимые ладоши, хохотнул пламенем и подкинул в небо россыпь фальшивых звёзд.

Стопки захватить не догадались. Пили из горлышка. Машка с бутылкой в руках стала похожа на нашкодливую ученицу. Застеснялась, повернулась спиной, глотнула, поперхнулась, замотала головой. Я вынул из кармана яблоко.

– Закусишь?

– Погоди. Потом. И так хорошо. Яблоко – это очень шумно, такой треск в ушках, что ничего не слышно. А надо услышать. Сейчас-сейчас. Сейчас услышу.

– Что ты там такое слушаешь?

– Тихо. Тсс... Небо.

Она закрыла глаза, подняла вверх руки и замерла статуэткой нимфы.

– Поставьте ноги на ширину плеч! – изрёк Лёха. – Начинаем дыхательные упражнения.

– Ах ты поганка такая! – Машка оглянулась в поисках чего-то, чем можно было запустить в Лёху. – Ну погоди у меня! Сейчас тебе от всех интеллектуалов попадёт!

Она подняла с гальки выбеленную солью суковатую корягу и погналась за Лёхой. Вначале они кружили вокруг деревьев, а потом помчались по узкой полоске отмели.

– Детский сад, – хмыкнул я, сделал несколько глотков, завинтил пробку и опустился на корточки у самой кромки воды. Из бурой, пахнувшей йодом пряди водорослей брызнула мошка. Путанное эхо ойкнуло спросонья Машкиным смехом и затихло в можжевеловых зарослях. Понюхал яблоко: воск и табак. Покрутил между ладоней, помял, как сминают снежок. Передёрнул плечами, размахнулся и запустил по высокой дуге в море. Яблоко с сочным клёканьем порвало тугий шёлк моря, на долю секунды скрылось под водой, и вот уже красным зрачком удивлённо заморгало в небо. Я набрал в ржавую жестянку воды, затушил костёр, сунул бутылку во внутренний карман и побрёл заикающейся морзянкой Машкиных и Лёхиных следов.

Здоровенная псина высунула покусанную мошкой морду из-за камня. Остановился. Достал последнее яблоко. Псина пристально посмотрела на меня, зевнула и деловито заклацала зубами, выгрызая из шерсти блоху.

– Ты тут так или по делу?

Собака поднялась, завиляла хвостом. Я откусил от яблока и предложил огрызок собаке. Та обнюхала, аккуратно взяла передними резцами, отбежала вверх.

– Извини. Колбасу не захватил. Если хочешь, пойдём со мной, я тебе трески дам. Только учти, она с луком и перцем. Будешь?

Мне показалось, что псина кивнула. Она аккуратно примостила огрызок на кочку и потрусилась вперёд, словно показывая дорогу. То и дело останавливалась, ожидая, пока я обойду мокрое место или вскарабкаюсь по склону. Удостоверившись, что я преодолел препятствие, собака мотала мордой и бежала дальше. Вдоль тропы, на болотине, подобно стае кудрявых болонок лежал туман. Стало зябко, я застегнулся и поднял воротник. Мы вышли на дорогу, но тут собака задумалась над каким-то запахом, плюхнулась в пыль и забила себя задней лапой по уху. Я подошёл ближе.

– Ну что? Идём?

Собака ткнулась в мои колени, затрясла ушами, но вдруг потеряла ко мне интерес, повернулась и быстро потрусилась обратно. «Что-то все меня сегодня покидают, – подумалось мне, – Ну и ладно. Спать. Пора спать».

Дверь в квартиру оказалась незапертой. Стараясь не шуметь, в сумраке прихожей на ощупь задвинул щеколду. Комнатная дверь, напротив, плотно прикрыта. Прошёл на кухню. Стол сдвинут к раковине, вдоль окна раскладушка. Застелена аккуратно, край одеяла красноречиво отогнут – мол, «тебе сюда». Ну, сюда так сюда. Эх, Машка! Вот ведь зараза такая! Хищница.

Утром в лабазе за десятку купил лупу китайскую. Рассматриваю комара. Комар корчит рожи и не хочет показывать, чем он так противно пищал всю ночь. Брюхо у него тёмно-бордовое, кровью моей наполненное. Сидит спокойно, нагло, считает, что теперь брат он мне кровный, что хоть и не люблю его, а убить стесняюсь. Притулился на локте – хобот в эпидермисе застрял, глазки в кучу, причёска растрёпана, борода клочна, видать, о постмодернизме размышляет. До пяти утра его не было. Поди, у соседского фумигатора кейфовал, а потом уже ко мне прилетел. Песни горланил над ухом, о стекло бился, рубаху на груди рвал, пока не заснул. Теперь, смотри-ка, похмелиться решил.

Минут десять сидит. Другой бы давно треснул стопку да улетел, а этот что-то медлит. Может, поговорить хочет, да не знает о чём, либо знает, да стесняется первым разговор начать. Одно дело – крови напиться, а другое дело – дружить начать.

С друзьями всё проще. А вот с теми, кто «по делу», совсем иначе. Вроде сто лет их знаешь, уже и печень болит, а они всё так в знакомых и ходят, сколько бы крови ни выпили. Нет, мне не жалко – пусть пьют, только бы за глаза гадостей не говорили. А для иных, хоть бы и гадости, всё прощено заранее, только бы не забывали. Звонишь по телефону:

– Ало-ало, это я! Помнишь, как мы с тобой? А как потом я тебя на себе? А как потом под одной шинелькой?..

А там не помнят, там совещание, там важные переговоры, там «извини, друг, сам понимаешь», там просто «абонент недоступен». Развело-раскидало, вымыло всё крупинки золота, один песок оставило. И ни в часы его не насыпать, ни куличик слепить.

Однажды были и мы совсем молоды, в меру умны, в меру талантливы. Пришли к нам люди незнакомые и посторонние, пересчитали на первый-второй-третий. Первым галстуки повязали и увезли не то в Москву, не то за границу. Вторым правду рассказали и научили

врать себе, а третьих в суете забыли. И сидят эти третьи где-то в глубокой... прошлой жизни, смотрят в телевизор и верят всему, что видят. И живут счастливо.

Но были и те, кого сосчитать не смогли. То ли в шкафу они прятались, то ли в командировке были, то ли за сигаретами ходили. И плевать им теперь на телевизор, и на деньги плевать, и на глупости всякие в галстуках. Они себе цену знают. И картины у них пусть не в рамах, но краски чистые. И книги пусть не в супере, но из слов простых. И кино, не в сорока сериях, но цепляет. Позвонишь им в пять утра в воскресенье, так не пошлют же, а спросят, что случилось. Ничего, ребята, не случилось, просто соскучился.

– Соскучился? – говорят. – Приезжай!

Лёха на кухню выполз. Вокруг лысины волосы венчиком. Лицо виноватое, но довольное, как у щенка овчарки.

– А я думаю, кто там на кухне шеработится?

– Удивительное дело, – говорю, – кто это может быть? Чай, домовый или участковый. Как спалось, растлитель малолетних?

– На себя посмотри!

– На себя уже неинтересно. К себе я привык. А кое-кого, на правах экс-дядюшки, призову к ответу. Можешь уже начинать просить у меня руки и сердца этой неразумной фемины. Только учти, никакого приданого. Как раз наоборот – с тебя калым.

– Большой?

– Плазменная панель твоя вполне подойдёт. Тебе теперь всё равно её смотреть некогда будет.

– Это ещё почему?

– Эй! Принесите мне попить! – раздался из комнаты Машкин голос.

Я налил из банки молока и протянул кружку Лёхе.

– Иди уже. Неси, рыцарь дурацкого образа! Герой-любовник.

– Сейчас-сейчас, сударыня! Тут крестьянин молока свежего принёс. Велите принять, или погнать паршивца со двора? – дурным окающим голосом заорал Лёха.

– Принять-принять. Веди его вместе с молоком!

– Иди, – Лёха вернул мне кружку и пропустил вперёд, – барыня требуют. Да поклониться не забудь, как в покои-то войдёшь.

Машка сидела на постели в гнезде из одеял. Лёхина тельняшка с завёрнутыми рукавами. Очки на кончике носа. Солнечный луч из окна запутался в двух шкодных белобрых хвостиках. Ничего не скажешь – само очарование и невинность. Я протянул ей молоко.

– Тебя уже сейчас пороть начинать или отложить на после завтрака?

– За что же меня пороть, дядюшка?

– Что ж ты друга моего до греха довела?

– До какого такого греха? Не было ничего.

– Ты на рожу свою довольную посмотри. Не было... Акселератка чёртова!

– Какой же ты, дядюшка, неделикатный. Воспитанный человек сделал бы вид, что всё нормально, тем более что всё и так нормально. Или ты ревнуешь? Дядюшка, да ты ревнуешь? Ну прости, мой милый, мой хороший, мой родственник любимый!

– Дурында ты. При чём тут ревность?

– Тогда в чём дело-то?

Машка сложила губы потешным хоботком и присосалась к кружке. Чёлочка, хвостики, худые ключицы в широком вырезе тельника – нимфетка.

– А не в чём уже. Это у меня с похмелья приступ дидактического настроения. Нужно либо похмелиться, либо поесть хорошенько. Но если ты, жопа с ручками, другу моему будешь голову дурить, я тебя не только выпорю, но и... – я задумался, придумывая вид экзекуции, – но и наябедничаю твоему папе, что ты куришь.

– Нет-нет! Только не папе! Я же не по-настоящему курю, не взятяжку. И никому я голову дурить не собираюсь. Я вообще самая бедная и несчастная, брошенная всеми девушка. Меня надо защищать и любить. А все требуют, чтобы я их защищала. У меня и сил уже нет, и желания.

– Ладно. Считай, что я просто поворчал для профилактики. И брысь на кухню готовить завтрак!

– А что благородные доны привыкли есть на завтрак?

– Что приготовят. Есть яйца, молоко, сыр, помидоры и остатки маринованных огурцов. Если ты добавишь к этому любовь, вдохновение и немного труда, то благородным донам хватит сил, чтобы дойти пешком да Ребалды.

– Пол помыть не надо?

– Это уже на собственное усмотрение. Я предполагал, что мы будем завтракать за столом. Но если ты предпочитаешь на полу...

К полудню вышли из дома. Лёха сбегал в лабаз и купил для тётки Татьяны огромную коробку конфет «Летний сад», бутылку армянского коньяка, набор прихваток для кухни и сковородку.

– Ты полагаешь, что у тётки Татьяны нет в хозяйстве сковородки? – скептически изрёк я, наблюдая, как Лёха запикивает сковородку в маленький рюкзачок.

– Есть наверное, но что-то же надо в подарок. Не очень разбираюсь в этикете, но полезные подарки завсегда лучше бесполезных. Там тазик был красивый и доска гладильная. Но я подумал, что тащить неудобно.

– Понятно. Тогда конечно. Тогда идеальный выбор.

Лёха с Машкой оторвались от меня шагов на тридцать. Лёха голый по пояс, с рюкзаком, в армейских ботинках и широкополой «афганке». Машка налегке, лишь с ольховой веткой, которой погоняет шустрюю стайку слепней. Они то и дело оглядываются на меня, не отстал ли. Машу им рукой, мол, идите, не ждите меня. Каюсь, но надоело мне слушать их щебетание. И эта их почти родительская снисходительность! Смотрят, как на любимое, но никчёмное дитя. Мол, они делом важным заняты, а тут «этот». Может быть, и вправду я ревную? Возможно. Возможно, что ревную свою дружбу к их интрижке. Надо последить за собой, понаблюдать. Выпустить из себя соглядатая, пусть чуть в стороне идёт, все мои ужимки да приколючки записывает, все мои опущенные долу взгляды, все мои нервные смешки. А вдруг уши краснеют? Пусть и про уши пишет. Всё потом прочту, проанализирую, на параграфы разобью, по кодексу пропечатаю. Виноват? Отвечу перед собой. Наложу на себя епитимью жуткую, лютую: три дня не буду носки стирать и зубы чистить. Авось полегчает.

Очередные велосипедные девушки обгоняют с весёлой матершинкой. У той, что сзади, коса толстенная. Теперь таких уже не носят. Спина от пота влажная. Слепень сидит. А коса из стороны в стороны тяжёлым маятником. Эх, лица не рассмотрел. Вряд ли красавица, конечно, но коса знатная. Серебрякова себе такую косу пририсовывала. Помню, как увидел её автопортрет в Русском музее, так влюбился. Класе в четвёртом это было. Стал одноклассник под образ примерять. А всё не то. Неделю влюблённый проходил, потом как-то забылось. После уже лежала у меня под стеклом на письменном столе открытка дореволюционная с девичьим личиком. Художник Каульбах. Картина «Задумалась». Столько слёз над этой открыткой было пролито. Казалось мне, что нет никого в мире прекраснее. И тоже как-то ушло. А может быть, и не ушло? Ирка моя ей-ей, но чем-то на неё похожа. Или мне уже кажется?

Дорога вся в горбылях. Булыжники вроде и ровно уложены, а норовят за подошву зацепить, притормозить. Как попадаю на эту дорогу, так словно что-то услышать пытаюсь, почувствовать. А что, не пойму: – не то мат конвойных, не то монашья молитвы. И те и другие в землю этапами втоптаны, промеж булыжников затырены. От того и дорога недобрая. Помню,

возвращался по ней с почты на велосипеде. К багажнику коробка проволокой привязана, в коробке хлеб и «славянская трапеза». Остановился по нужде, велосипед к берёзе прислонил. А уж солнце зашло. Сумерки. Туман над лугом. И вдруг жутко мне стало. Да так, что под лопаткой засвербило. Хотел песенку насвистать, да свист к губам прилип. Не то взлететь захотелось, не то в землю зарыться. И не знаю, что вдруг осенило, – достал буханку из коробки, переломил пополам и половинку на камень положил. И отпустило. Словно задобрил кого-то неведомого, либо задобрил, либо рассмешил. Но дунуло мне в спину тёплым ветерком, пахнуло в лицо разнотравьем, а не сыростью с болота. Приехал в посёлок, никому не рассказал. Да и что рассказывать – страшилка пионерская. А сейчас вдруг вспомнил. Где то место? Может быть, уже прошли, и не узнал. Солнце. Жара. Слепни.

Справа меж деревьев озеро замигало. Эти двое, не оборачиваясь, припустили бегом купаться. Уже и плеск слышен, крики, смех. Дорога вильнула – и вот берег, пляжик песчаный, купальня. Автобус у обочины. Двери открыты, из нутра пекло адово. Школьники, туристы из Архангельска в воде бултыхаются. А почему из Архангельска? Может, и не из Архангельска вовсе, а из Питера или ближе – из Петрозаводска или из Кеми. Экскурсоводша молодая сидит на перилах, курит. Чувствуется, что ей тоже в воду хочется, но, видать, купальника нет, стесняется. Лёха уже на середине озера. На середине глубоко, вода только у поверхности тёплая. Машка плавает плохо, осторожно. Голову в воду не опускает. Эдакий женский недобрасс. Лёха что водяной. Скользит тяжёлой струёй по озеру. Уверенно. Мощно. Без брызг. Как беличьей кистью по свежезагрунтованному холсту. То в одну сторону мазков двадцать, то в другую пятьдесят, то в третью десять. И уже подмалёвок: рябь леса, строчки деревьев, мозаика облаков.

Машка мне рукой машет, зовёт присоединиться. А мне в воду лезть не хочется. Вроде и спёкся, пока шёл, а сейчас в теньке, так и полегчало. Да и плавок не захватил. С голым задом при детях некуртуазно. У них там визги, хохот, оклики. Хороший шум. Праведный. Пожалуй, что только такой шум этому месту и прописан. Чем ещё осторожность содрать? Она как сажа к образам прилипла, не различить, кто там с нимбом. Мудрено ли, столько боли на остров вылито, столько сосудов с надеждой разбито. И как ни копи в себе благость, не ангелы между деревьев мерещатся, а тени эков. Видать, покинули ангелы архипелаг до иных времён. Тут хоть криком молись, а через шёпот проклятий не пробиться. Сперва небо расчистить надо. А детский смех – он до неба достаёт. Потому как без дум и без просьб – чистое счастье, начало жизни. В детях ведь ни добра, ни зла нет ещё. Души ещё целиковые, первобытные, моралью людской не испорченные, проповедями не залеченные.

Лёха из воды вышел. Стоит античной статуей на солнце. Машка на траве растянулась – любитесь. Видать, и вправду влюбилась. Долго ли ей... Всегда к этой каторге готова. И всегда всерьёз, без остатка. Да и Лёха такой же. Последний рыцарь. Широкий, обаятелен, галантен, но словно стесняется силы своей внутренней, не даёт ей разгуляться. Или боится, зная, какую бурю удерживает. Но иной раз хлопнет внутри какая-то форточка, захолонёт ветром вокруг, и тогда зови-не зови, все едино не услышит.

Влюбился он как-то в девочку из Новгорода. На свадьбе у наших общих друзей познакомился. Влюбился по-серьёзному, как только он и может. Каждый вечер на машине из Питера мотался. Приедет, букет лилий подарит, в кафе её сводит, стихов почитает и обратно. А ведь зима была. Дорога ужасная, да и концы немаленькие. Лёхе всё нипочем. «Волга» его за ту зиму тысяч пятнадцать намотала, если не больше. Мы все ему почти хором: «Оставь ты эту дуру. Сдалась она тебе! Это же не роман, а какое-то роуд-шоу» А ему всё равно – знай себе подвиги совершает во имя прекрасной дамы. С парнями какими-то в кафе из-за неё подрался, в милицию попал. Девочка, похоже, Лёху побаивалась. Ей не принц на зелёной «Волге» был нужен, а обычный местный паренёк из техникума. Капризы какие-то, кокетство, упрёки. Измучила она его за три месяца, издёргала. Видать, в себе всё разбиралась. Хорошо, что так и не разобралась – не успела. Однажды сломалась машина где-то в районе Чудова в двадцатиградус-

ный мороз уже на обратном пути. Пока ловил машину, околел не на шутку. Курточка лёгкая – пижонская, рубашка белая, галстук. Ни шарфа, ни шапки. Ночь. Мороз. Снег. И как назло, никто не останавливается. Наконец подобрала его какая-то вахтовка, довезла почти до Новгорода. Там пешком добрался до общежития, где дама его огромного сердца проживала. Добрался вконец замерзшим: в усах иней. А она не пустила. Даже дверь ему не открыла. Через замочную скважину разговаривала. Мол, вставать ей рано. Мол, девочки уже спят. Мол, неприлично это. И всё. Сплюнул Лёха все свои чувства между передних зубов на лестничную ступеньку и пошёл в гостиницу. Дома потом собрал листки со стихами, фотографии – и в мусоропровод. Как освободился. И опять счастлив! Влюблён – счастлив, не влюблён – опять счастлив. Удивительный человек.

Машка бумажную скатерть на камне расстелила, бутерброды достала. Уплетают за обе щеки. Болтают с набитым ртом, смеются. И тут из-за угла давешний дьякон появился на велосипеде. Возле купальни затормозил, спешился. Повёл велосипед подле. Сам в линиях подрыснике, в чёрных джинсах, на ногах ботинки наподобие Лёхиных. Велосипед допотопный – руль с таким изгибом, который только в фильмах про тридцатые годы увидишь. К раме удочки приторочены. Удочки, что характерно, современные – ширпотреб китайский. Но что-то в виде его мне напомнило. Словно внутри меня эхом аукнуло.

Так ведь и я привязывал дедовские удочки к раме велосипеда. Бамбуковые удочки – старые, с самодельными кольцами из толстой медной проволоки, с выточенными из бруска бронзы тусклыми ладными втулками. Сколько лет тому бамбуку? Откуда вообще его брали? В магазинах продавали? Это в какие же годы – в двадцатые? Хранились они без чехла, просто перетянутые красной тесьмой. Стояли в самом углу кладовки дедушкиной квартиры на Северном Кавказе. Вначале стояли анонимно, тихо, затаившись, пока я их однажды не заметил в шестилетнем возрасте, прячась в кладовке от бабушки. Заметил и вожделился.

– Не трогай! Это деда!

– Почему нельзя?

– Потому что дед запретил. Ты ещё маленький.

– Я уже большой! Большой! А что это?

– Снасти это. Рыбу ловить.

Ещё не понимал, что это такое, но уже глаз не мог отвести от тусклого металла втулок, от тонких, фасонящих шербатым красным лаком кивков. От тонкой медной проволоки, которой кольца прикручены. От чёрного барабана катушки с клеймом на «ненашем» языке. Как я в тот раз ждал деда из командировки! Как считал дни, как бегал утром отрывать листки у календаря на кухне! Скорее бы! Скорее бы он вернулся и позволил мне взять это богатство. Разложить аккуратно на огромном диване, собрать, держать в руке, представляя, что на конце лески рвётся что есть мочи огромная рыба. Великолепная, сверкающая чешуёй на солнце рыба. Такая, чтобы Витька рассказал брату, а брат бы его подошёл ко мне и похлопал по плечу: «Молоток!» И я горевал, что сейчас не лето, а только февраль. Но может быть, можно где-то ловить? Например, в Тереке! Терек же не замерзает! Да! Конечно! В Тереке. Я же слышал рассказы про то, как бурлит Терек. Если он бурлит, значит, он не замёрз, особенно в такую тёплую зиму. И я представлял, как обязательно упрошу деда, чтобы в следующий раз он взял меня с собой в командировку в дальнюю часть. В ту, что на самом берегу незамерзающей зимой реки. И пока Дед будет гулко разговаривать с другими такими же дядьками в погонах и кожаных портупях, я стану ловить рыбу. Рыбу... Бабушка позволила мне взять с полки тяжёлую книгу в зелёном кожаном переплёте «Ловля озёрной и речной рыбы для души и промысла». Я к тому времени уже достаточно бойко читал, и впился в рассказы о ленивых карпах, шустрой густере, жадном окуне. Иллюстрации в книге сплошь цветные, переложенные тонкой папиросной бумагой. Рыба на картинках казалась изумлённой. И я смеялся, когда уже узнавал её без того, чтобы прочитать внизу страницы. И бегал с книжкой к бабушке

- Ну, спроси меня! Спроси! Спроси, как называется!
- Неужели всех рыб выучил?
- Всех до одной! Даже тех, которые из моря приходят!

И бабушка вытирала руки о висящий на гвоздике передник, надевала очки и, аккуратно переворачивая страницы, показывала карандашиком на картинки. Мне и сейчас видится бабушка, сидящая на добротном довоенном стуле и кивающая моему рассказу взхлёб о ловле какого-нибудь сига.

Дед вернулся в середине марта, когда мы с бабушкой острыми квадратными лопатками пробивали каналы в ледовой корке. По каналам спешила весёлая хихикающая вода, унося вниз по склону то кораблик из бумаги, то пароходик из спичечного коробка. Мы заранее договорились с бабушкой, что про удочки спросит она. Спросит как бы невзначай – мол, убиралась в кладовке, нашла твои удочки, может, выкинуть их или Игорёчку отдать? И мы оба были совершенно уверены, что дед скажет: «Отдать, конечно!» Но не тут-то было. По его мнению, я был ещё слишком мал для рыбалки. Слишком неаккуратен и рассеян. Доверять мне удочки ещё нельзя: я запутаю леску, прищемлю палец катушкой, сломаю тонкие кивки. Надо подождать, когда мне исполнится хотя бы семь лет. Как я обиделся на деда! Я заперся в ванной комнате и плакал, наверное, часа два, прекрасно понимая, что, во-первых, дед своих решений не меняет, а во-вторых слёз терпеть не может. А удочки... Удочки оставались недоступными. Лишь через год, когда я уже жил с родителями у склонов Пай-Хоя и приехал на свои первые летние каникулы, дедушка торжественно вручил мне тяжёлую, гладкую связку. В тот же год он взял для меня в прокате велосипед «Школьник» и довольно быстро научил меня на нём кататься. Он учил меня так же, как учил в своё время отца. Я крутил педали, а он бежал сзади своим лёгким спортивным бегом и придерживал рукой за прикрученную под седло скобу. На второй день я уже сам катался по двору, а на третий доехал до стадиона и обратно. И в одну из суббот он достал из кладовки в подвале огромный тяжёлый велосипед «ХВЗ» с двойной гнутой рамой. Толстым чёрным насосом накачал шины. Спустил велосипед во двор и проехал круг.

- Теперь и я готов.
- К чему, деда?
- Едем с тобой на рыбалку.

Я поверить не мог своему счастью. С дедом! Вдвоём! На рыбалку! Да не просто так, а на велосипедах! Он нарезал коротких бечевков и привязал две из трёх удочек под раму. А одну – самую лёгкую, ту, которая мне нравилась больше всего, принайтовал к раме «Школьника». Если и были в моей жизни мгновения безоговорочно счастливые, то это одно из них. Мы ехали по Осетинке, мимо знакомых с самого детства домов, в каждом из которых жил кто-то из моих приятелей. Ехали вдвоём с Дедом. Мы ехали на рыбалку, на очень серьёзное и ответственное мужское дело. И я мечтал, чтобы все мои друзья именно в этот момент смотрели в окно, стояли на балконах или играли в саду. Мечтал, чтобы они видели нас и завидовали. Потому что я сам себе в тот миг завидовал.

Помню, многие годы спустя я разбираю ту кладовку. Это было уже после бабушкиной смерти, перед самой продажей квартиры. Запах мыла и старых вещей. Я нашёл в самом дальнем углу тяжёлый деревянный ящик, доверху забитый мыльными брусками. Мешок с гречневой крупой. Несколько полотняных мешочков с мукой. Спички. Их было коробков двести. Они заполняли собой сшитые из старых наволочек мешки, что висели под самым потолком. Свечи в жирной крафтовой бумаге. Ровными рядами, как снаряды. Готовые к сражению. Посвятившие своё будущее огню. Соль в брезентовом тубусе. Старики хорошо помнили войну. Особенно бабушка, пережившая и оккупацию, и последующий после освобождения голод. Теперь думаю, что она всю оставшуюся жизнь прожила, ожидая начала новой войны. Иной раз она даже недоумевала, почему же эта проклятая война никак не начинается, когда наконец, к ней

готовы. Жили б мы чуть южнее и на восток, глядишь, бабушкины запасы и пригодились бы. А так всё это вызывало у меня только улыбку. И вещи. Множество вещей, которые я помнил с детства. А некоторые помнили маленьким ещё моего отца. Полотёр в сером полотняном чехле, плетёный сундук, обитый коваными лентами. Огромный парусиновый чемодан, с которым Дед вернулся из Австрии в сорок пятом. Другой, кожаный: жёлтой потрескавшейся кожи, с которым они втроём с моим отцом отправлялись в Монголию. Потом, когда я уже родился и уже что-то помнил, дед ездил с этим чемоданом в столичные командировки. У него тогда болела спина, и кто-то из его подчинённых подарил целую бутылку змеиного яда, заткнутую пробкой. Дед взял бутылку с собой в Москву. И там в метро ему стало плохо, он потерял сознание и выпустил чемодан из рук. Бутылка разбилась, на долгие годы пропитав внутренности чемодана характерным запахом.

Полотёр. В сером полотняном чехле на завязках. Я до икоты боялся его в детстве. Этот совершенно потусторонний, враждебный механизм, этот огромный череп с выпуклыми лобными долями на длинной ручке. Воплощение зла! Настоящий фашизм. Когда при мне проносят слово «фашизм», я вначале представляю этот полотёр из моего детства, а потом уже свастику. Перестав бояться полотёра, я впервые преодолел в себе сильный страх. Было мне тогда лет пять. Теперь я не боюсь полотёров, как и другой техники. Теперь меня страшит что-то другое, чего не то что не победить, а и названия не подобрать.

Я разбирал вещи, вынимая их на свет, и дивился тому, как много в моей памяти для них места. И мне было жалко даже разобранной железной кровати, её спинки с набалдашниками в виде шаров. Но всё это невозможно было вывезти, потому что-то дарилось соседям, а что-то отправилось на помойку. Как я теперь жалею! Все эти громоздкие старые вещи, которые вместе с моей семьёй бродили по волжским городам (Ярославль, Кострома, Рыбинск, Тутаев), обтирались на перронах, скрипели в контейнерах, прятались на чердаках и кладовках. Нажитое между бесконечными переездами. Сбережённое и хранимое заботливыми бабушкиными руками. Она регулярно протирала касторовым маслом чемоданы бока, просеивала через сито муку от жучков, перебирала на расстеленной газете крупу, смазывала из швейной маслёнки подвижные части полотёра. Ручки чемоданов, впитавшие тепло сухой и крепкой ладони деда, да, пожалуй, что и нетерпеливый жар детской руки отца. Старики-чемоданы. Теперь их просто вынесли на безразличные помойки, где на них сразу запрыгнули кошки. Чемоданы жались друг к другу, словно подслеповатые бродяжки, не понимающие, что за дорогу для них выбрали. Вскоре к ним добавилась панцирная сетка кровати, полотёр, пылесос «Ракета», тюки с бабушкиными платьями и дедовскими пиджаками. Мундиры я заботливо упаковал и положил вместе с коврами на дно багажника своего джипа. Туда же отправились картины, альбомы с фотографиями, коробочки с орденами, пачки праздничных адресов и наградных грамот.

Швейная машинка «Зингер», на которой вряд ли кто уже будет шить, но выбросить которую или подарить у меня не поднялась рука. Бабушка любила эту машинку, разговаривала с ней, как с живой. Оглаживала морщинистыми руками её блестящее колесо. Это уже член семьи. Ей судьба ехать со мной в Петербург. В квартиру другой моей бабушки, той, что всю жизнь ненавидела шитьё.

Удочки. Они уже совсем растрескались, замотаны синей изолентой, но ещё гордо фасонят красным лаком кивков. Я достал их из кладовки последними, из самого дальнего угла. Я разложил их на паркете гостиной. Собрал. Пощёлкал ногтём кольца. Потрогал подушечкой пальца острие кованых крючков. Потёр ребром ладони потускневшие втулки. И вдруг, повинаясь какому-то непонятному порыву, стал одну за другой ломать о колено. И лишь на последней, той, самой лёгкой, что любил больше всего, словно очнулся от наваждения и заплакал. Сидел на паркете, держал в руках чёрную немецкую катушку и плакал. Мне было жаль эти вещи, эти запахи, этот дом. Я чувствовал себя предателем, варваром. Мне чудились голоса

деда и бабушки, отчитывающих меня за то, что я вернулся позже положенного, да вдобавок к тому с изодранной рубашкой.

– Во! Ловец человеков пожаловал, – Машка приподнимается на локте и поверх очков смотрит в сторону дьякона, – сейчас наловит себе на ужин.

– У тебя, как я посмотрю, совсем с религией дела плохо обстоят, – Лёха хмыкает и откусывает половину огурца.

– Они вечно пытаются дать мне ответы на вопросы, которые я не задаю.

– Это как это? Ну-ка, поясните, барыня. Мы люди все необразованные, нам ваше учение впрок пойдёт.

– А нечего пояснять. Ерунда это всё. Было мне как-то плохо совсем. Запуталась, что ли, или запутали меня. Решила либо в алкоголики податься, либо в церковь сходить. Про церковь меня мама надоумила. У неё на этом деле какой-то пунктик. Сама не ходит, ни одной молитвы не знает, а всех поучает. А я что? Я примерная дочка. Пошла в церковь. Пришла. Нашла там попа какого-то. Говорю ему, что плохо мне, что причаститься хочу.

– С утра не ела?

– Понятное дело! Даже вечером не ела. Всё как полагается.

А он меня ну расспрашивать про то, как я живу, с кем живу. Не про то, зачем живу, а с кем. Будто это его касается. Курю ли я, выпиваю ли, медитирую... Вы представляете? Спросил меня, не занимаюсь ли йогой. Ну, думаю, продвинутый поп. Про медитации что-то понимает. А я же занималась немного. Скорее для здоровья, чтобы похудеть.

– Куда тебе дальше худеть? И так одни кости. – Я наливаю себе чай и передаю термос Лёхе.

– Ты, дядюшка, всё-таки неделикатный. Вроде и воспитанный человек, интеллигентный, а как ляпнешь, то если бы на моём месте какая другая оказалась, то обиделась бы на тебя по гроб жизни. Кто ж так девушке говорит – «одни кости»? Сказал бы что-то вроде «Ты и так в прекрасной форме» А то – кости...

– Ты в прекрасной форме. Кости так и торчат. Куда тебе худеть?

– Всё. Прекрати. Ну вот... Говорю ему, что да. Что занималась йогой, что курю, но немного меньше половины пачки в день. Что хожу в бассейн.

– Что только что соблазнила сестру своего жениха...

– Игорь! Я серьёзно. Прекрати. Или я уеду сейчас.

Машка как-то вдруг подбирается. У скул её колыхается обида, а на шее проступает маленькая нервная венка.

– Сейчас кое-кого кое-кто вызовет на кое-что, — Лёха сдвигает брови и изображает рукой движение, словно он протыкает меня шпагой.

– Машка, прости. Больше не буду. Того гляди рыцарь меня забралом загрызёт. Это я от ревности, жары и похмелья.

– Ну вот, – она тянется к Лёхе, который подставил ей щёку для поцелуя, – рассказала я ему всё как на духу, упомянув, что у меня ещё и месячные, кажется, не пришли. Тут этот поп начал на меня шипеть, что я неправильно живу, что всё у меня в жизни неверно, что он меня до причастия допустить не может. Что мне нужно делать то-то и то-то, читать молитвы такие-то и такие-то, ходить на службы чуть ли не каждый день и тогда, может быть, он меня причастит. Ну не свинья ли? Я что, к нему, что ли, пришла? Я к Богу пришла в кои-то веки. Я, может быть, ночь не спала, волновалась, ждала. А он мне такое.

– А они могут до причастия не допустить? – Я киваю на дьякона, который как раз приломился на досках купальни и расшнуровывает ботинок.

– Хрен их знает, – Лёха задумчиво трёт подбородок, – я в православии фигово разбираюсь. У католиков вроде не имеют права не допускать. Помнишь, как в кино? Приходит убивец,

садится в кабинку и ну рассказывать, как он замочил семью Фаринетти, потом Спагетти, потом Чипполино. А ему в ответ полное прощение грехов и наказ больше так скверно не поступать.

– Во! Прекрасный сервис.

– Это ты, конечно, хватил, Лёшечка. В кино – это же символ. – Машенция ласково гладит Лёху по лысине.

– Символ чего? – осведомляюсь я.

– Скажем, несовершенства человеческого общества. Или продажности католической церкви...

– Кризиса буржуазной морали и скорого наступления всеобщего рокенролла. – подхватывает Лёха.

– Символ засилия массовой культуры и девальвации человеческих ценностей. Во! А также символ кризиса западной аврамической парадигмы, предрекающий скорый конец современной урбанистической цивилизации вместе с её кредитно-денежной системой.

– Дураки какие! – Машка вскакивает, расплескав вокруг себя песок. Потешно топает ногой, и вдруг прыгает на одной ноге прямо к дьякону.

– Дяденька! Дяденька священник! Они меня обижают! Я маленькая, а они вон какие большие. Наложите на них епитимью! Да потяжелее. А если есть какая-нибудь вонючая епитимья, то давайте им вонючую.

– Здрасьте. Меня Маша зовут, – выпаливает она, доскакав до купальни и нависнув прямо над дьяконом, который к этому времени справился со шнуровкой на правом ботинке и теперь сосредоточенно рассматривает что-то у себя на пятке.

Он улыбается и манит Машку пальцем. Та присаживается на корточки, ухватив себя руками за коленки и склонив голову набок. Дьякон что-то говорит ей, но слова заглушает чавканье двигателя отъезжающего автобуса. Видимо, он о чём-то её спрашивает, на что та даёт отрицательные ответы. Это видно по тому, как энергично летают хвостики из стороны в сторону. Дьякон поднимается, протягивает руку Машке, помогает встать. Не отпуская Машкину ладонь, он ведёт её к берегу. Тоненькая фигурка в красном купальнике рядом с долговязым дьяконом в чёрном подряснике смотрится оксюмороном. Надо же, какая появляется эротичность от полуобнажённого женского тела на фоне строгой одежды священника. Бесстыжая она, конечно. Но красивая. Очень красивая. Особенно сейчас. Свезло Лёхе. А ведь точно ревную. Как-то это помимо меня происходит. Ирке, что ли, позвонить?

– Искушение святого Антония, – хмыкает Лёха.

– Скорее, покаяние святой Марии.

– Сейчас ведь утопит её к чёртовой матери.

– Ерунда. Тут мелко, а глубоко он не пойдёт. Штаны, смотри, у него только до колена закатаны.

– Вот ведь затейник! Слушай, а он монах или не монах? Если не монах, то, может быть, мне уже стоит начинать волноваться?

– Брось ты, Лёха! Ты посмотри на него. Поверь, он тебе не конкурент. Машке такие не нравятся. Я тебе как родственник говорю.

Тем временем дьякон отводит Машку от берега на десяток метров. Он останавливается, черпает в горсть воды и поливает Машкины волосы, перекрестив. Потом так же поступает с Машкиными локтями. После этого они уже оба поворачиваются лицом к противоположному берегу и, трижды перекрестившись, кланяются.

– Во дают! – только и выдыхает Лёха. – Это что ещё за обряд такой на пленере?

– Даже и не знаю, но думаю, что немного благодати ей не помешает. Вот что мне интересно – их учат такие штуки вытворять, или это всякий раз импровизация? А наша-то! Всё на полном серьёзе. Ты заметил, какое у неё было лицо, когда он её водой поливал?

Машка выскакивает на берег и бежит к нам, улыбаясь даже кончиками своих шkodных хвостиков.

– Всё! Мне было плохо, а теперь мне так хорошо. Мне так хорошо!

Достаю из рюкзака полотенце. Протягиваю ей.

– Насколько я помню, ты цвела и пахла всё утро. Если это называется «плохо», то я начинаю опасаться за свои оценочные критерии.

– Нет! Ты не понимаешь! Мне утром было прекрасно. Мне и вечером было прекрасно, но на самом деле мне было очень плохо ещё с Москвы. Уже давно. А теперь мне и так хорошо, и эдак хорошо. Понимаешь? Лёшечка, ну а ты понимаешь?

Лёшечка понимает. Он вытирает Машкину голову полотенцем. Наклоняется и подаёт футболку. Пока та, сидя на траве, пытается втиснуться в джинсы, подходит дьякон.

– Здравствуйте, – нам по очереди ладонь. – Георгий.

– Победоносец? – громко спрашивает Лёха.

– В каком-то смысле. Мария попросила на вас епитимью наложить. Вы как, готовы?

– Мы всегда подпишемся. Что делать-то надо, Гоша?

– Георгий, – мягко поправляет дьякон. – Тут такое дело. Привезли доски на Секирную, а наверх не смогли подняться. Сбросили возле бани. Поможете наверх перетащить?

– За это нам прощение грехов?

– Прощение не обещаю, а обедом накормят.

Лёха вопрошающе смотрит на меня. Чувствуется, что ему очень хочется потаскать доски. В предложении дьякона он чует столь необходимую его характеру авантюру. Вернее, не авантюру, а ту неожиданность, в правильность которой он сразу уверовал.

– Нам вроде как не по пути. Мы, собственно, в Ребалду, – неуклюже пытаюсь отмахнуться от предложения, но слышу в своём голосе нотки неискренности. По всему выходит, что и мне вдруг приспичило на Секирную таскать доски.

– Много досок?

– Сороковка. Полтора куба. И вагонки половинка. – Дьякон глядит добродушно. Улыбается.

– Ну, что, Лёха, совершим неожиданный трудовой подвиг?

– Ребята, пойдём на Секирную. Пойдём-пойдём! Я хоть посмотрю, что за место такое. А то когда ещё сюда выберусь. – Машка прыгает на месте от возбуждения. Никакого смирения в глазах. Только радость торопливая.

Знаю я этот склон на Секирной горе. Там подъём градусов под сорок пять, метров на двести. По жаре самое то. Сердце спасибо скажет. Но уже всё решено. Решено ещё до того, как этот «велосипедист» подъехал. Надо подчиниться Острову. Он редко просит, а уж если просит, значит, так и надо.

Машка позаимствовала у дьякона велосипед. Тот с радостью отдал. Заботливо опустил сиденье, помог Машке залезть.

– Аккуратнее только. У него иногда цепь прокручивается. И передний тормоз совсем не работает. Тормозить только ножным.

Но Машка уже уверенно крутит педали, удаляясь вдоль по брусчатке. Всё ей всегда удаётся. Всё дают, что ни попросит. Мало есть мужиков, которые не поддаются её очарованию. Лёха, бедолага, попал. Втрескался в малолетку. У него даже черты лица поменялись. Какие-то внимательные складочки на лбу. Что-то сторожевое, охранное.

– На службу утром так и не пришли? – Дьякон громыкает рядом со мной военными ботинками.

– Напились вчера на радостях. Сегодня как-то не до церкви было.

– Так никогда времени не найдёшь. Это всё бесы его у человека воруют. А человек и поддаётся.

– Может, и бесы. Но утром мне пива хотелось, а не молитвы. Так что я сомневаюсь, что Богу нужна была моя похмельная молитва. Если уж совсем быть честным, не воспринимаю я это место как Храм. Как музей – да. Как архитектурный объект – да. А как место для молитвы – нет. Бог вообще задолжал этому месту. Слишком долго не замечал, что тут происходило.

– У Бога никаких долгов нет. Человек Богу должен. Своим существованием и своим спасением. И для человека важно те долги отдавать. Если долги отданы, то и умирать не страшно. Вот вы, небось, в глубине себя только хорошее думаете. Чувствуете Божье начало. Слова правильные говорите. Идеалы имеете. А человек всегда живёт между своими идеалами и своими поступками. И подвиг его не в том, чтобы те идеалы в себе копить, а в том, чтобы за поступки ответ нести. Это и есть долг.

– Перед кем это?

– Перед людьми и перед Богом.

– На том свете?

– Про тот свет ничего не скажу. А на этом свете человеку совесть дана. Вот и нужно вослед за совестью идти. Совесть – это дыханье вашей души, а не вашей личности. Личность может совсем неверными дорожками блуждать, а у души дорога всегда одна: от Бога и к Богу. И чем ближе дороги души и личности, тем легче человеку живётся, тем счастливее он внутри себя.

– Рекомендуешь блюсти моральный облик?

– Мораль – это то, что между тобой и людьми. Это мораль. Она вроде как и должна быть светлой, но всякое бывает. – Дьякон, похоже, сел на любимого конька. Чувствовалась отретпетированность текста. – Важнее морали – нравственность. Нравственность – это Божий закон, а совесть – её мерило. Они вроде как и близки – мораль с нравственностью, а не одно и то же. Вы деньги зарабатываете. Вы продаёте-покупаете. Морально это? Да. В обществе это морально, потому как законно. А нравственно? Не всегда. Общество законы устанавливает согласно своей морали. Для нравственности законов общество не придумывает. Если и пытается, то гомункулы выходят. Бесовским духом напитаны. Гордыню бесовской. Попыткой быть таким же, как Творец.

– Погоди, Георгий! А как же десять заповедей?

– Это да. Это законы. И дал их Бог. А общество нравственных законов изобрести не может. Нет у общества такой силы. Нравственные заповеди – это, друзья мои, высшая ступень Божьего творчества.

– А если общество такое дурное и неправильное, то за каким лядом перед людьми-то ответ нести?

– Это просто. Занимаешь ты в долг у людей, а отдаёшь Богу. Что тебя подвигает отдавать? Совесть.

– Или паяльник в заднице, – вставляет Лёха.

– Это для тех, кто совсем оглох и совесть свою не слышит.

– Стало быть, паяльник в заднице – это тоже Божий промысел?

– Всё Божий промысел.

– Странная это логика. Не понимаю я её. Какой—то в этом обман. – Лёха скинул с себя тельняшку, смотал её в тюрбан и водрузил на голову.

– А причащаться надо. Тогда и обмана никакого не будет.

Доски лежали чуть выше каменной бани, возле щита со схемой, сваленные на самой дороге. Пахли свежим спилом. Сосновые. Сырые. Тяжёлые. Блестели смоляными каплями на глазницах сучков. По прикидке получалось никак не меньше трёх кубов. Обманул Гоша.

Или просто не знал. Лёха повёл Машку к колодцу пить, а я с удовольствием рассматривал небольшое картофельное поле за проволочным ограждением. Грядки неровные, но аккуратно окучены. С такого поля мешков двадцать собрать можно, если не больше. Видно, что теперь здесь не реставраторы, а монахи. Реставраторам не до хозяйства было. Вообще, чувствовалась обжитость, основательность. Скамеечка для отдыха. Покошенная трава по краям тропинки. Калитка в ограде. Информационный щит на фоне этого огорода смотрится выскочкой, наглой *Nota bene* на полях древнего трактата о бытие и подвиге. «Зона рискованного земледелия» – фраза из какой-то книжки мельтешит в сознании. Рискованного. Картошка на делянке среди леса – какой тут риск? Что раньше сажали, до того как появился тут этот американский агроинтервент? Репу? Злаки какие-нибудь? Судя по тому, что ещё осталось, у монастыря было обширное хозяйство, рассчитанное на то, чтобы кормить и братию, и паломников. Поля, стада коров, теплицы. Возле шлюза до сих пор стоит остов электростанции с ржавой германской турбиной. Дорогая вещь была. Видать, что не на пожертвования купленные. На доходы от промысла сельди. Целая флотилия у монастыря имелась. Торговля. Промысел. Есть ли в промысле да торговле то богосозерцание, ради которого приплыли на архипелаг первые подвижники? Не суета ли это? Чем больше братия, тем комфортнее она пытается жить. И вот уже интриги, доносы, высочайшие инспекции. И откалываются самые строгие, уходят на дальние скалы, мастерят среди болот скиты. Там иной ритм, иная планида. Хотя могу ли я судить, если даже не понимаю? В двадцатые годы и монастырских и скитских повыгнали. Где канавы рыли, где лесозаготовки устроили. За дерево лесу человеческой данью платили. Тысячами. Здесь, на Секирной горе, карцер был. Страшное место. Тот склон, где лестница Савватьевская, сплошь костями покрыт. Ещё в шестидесятых, когда музей-заповедник начали устраивать, косточки дождём из земли вымывало. Расстреливали ведь прямо на склоне, так трупы вниз и падали. И никто их не закапывал, не хоронил. Как теперь монахам на этом месте служить? Это же невозможно, когда столько боли. Или возможно? Или ушла та боль через иголки хвойные, через песок и супесь до самого гранитного лба острова? Ушла и затаилась там во тьме слюдяными слезами. А снаружи как сейчас – солнце, слепни, жара. А может быть, для того и служат здесь монахи, чтобы отмаливать души замученных? Несут скорбную вахту. Надо у дьякона спросить. Авось расскажет. А то ведь только кивнул нам на доски, поднял брошенный Машкой велосипед и молча упёрся куда-то.

Носили по одиночке. Первой походкой подхватили по паре штук, но уже на половине подъёма залились потом. Лёха шёл впереди меня. Я чувствовал, как он считает каждый шаг, встречает ботинком каждый камень, нажимает на каждый корень. Слепни и оводы норовили спикировать на шею. Спасибо Машке, усиленно размахивавшей пушистой ивовой веткой. Последние метры от сарая со ржавым остовом генератора до крашеной стены обители уже на пределе. Всё с непривычки. Жизнь кресельная. Кресло в конторе. Кресло в машине. Диван дома. Лёха к концу подъёма далеко вперёд оторвался, но и ему тяжело. Скинули ношу. Отдышались и вниз. Потом по одной доске брали. Ходок больше, а нести легче. Через час работы втянулись. Ритм почувствовали. Уже и дыхание ровное на четыре счёта. Да и пот весь вышел. Камни и корни уже узнавали. Ступали по своим следам, по удобным ложбинкам. Машенция поначалу разговаривать с нами пыталась. Но почувствовала, что задыхается, умолкла. Ходила молча, сосредоточенно размахивая веткой. Однако вскоре умаялась. На какой-то раз осталась наверху. Уселась по-турецки на деревянном помосте, не то медитировала, не то просто вдаль смотрела. Пока работали, никого из монахов не видели. Казалось, что здесь и нет никого. Разве что занавеска в одном из окон вдруг оказалась задёрнутой. Дьякон вернулся. Понаблюдав за нами полчаса и покрутившись вокруг Машенции, опять уехал куда-то на своём велосипеде. Удочки так и не отвязал.

К четырём часам закончили. Свалили с плеч последние доски и уселись на груды колотых дров. Обедать нас никто не приглашал. Ломиться в двери и требовать еды не хотелось. Просто

сидели, слушая, как внутри по инерции громко и часто бухает сердце. Где-то внизу раздался рёв перегазовывающего двигателя и лязганье тяжёлого металла. Слышно было, как с хрустом неведомый водила переключается на пониженную передачу и пытается штурмом взять склон. Наконец движок взвыл параноиком и в тот же миг заглох. Послышался отчаянный мат. Хлопнула дверца кабины. Немного погодя на поляне с генератором показался растрёпанный мужик в линялом танковом комбинезоне. Он поднял голову и заметил нас.

– Эй, работнички фуевы! Кончай курить! Принимай вагонку. Опять, сука, эта вафля заглохла! Радуйтесь, что в этот раз повыше дотянул. Кончай жопу о трусы тереть! Взяли, скинули, потом бакланьте. Мне ещё к катеру успеть надо.

Он запустил пальцы в нагрудный карман, достал смятую пачку космоса. Зубами оторвал фильтр и захлопал руками по карманам в поисках зажигалки.

– И огня дайте. Есть зажигалка-то, мазута?

Лёха рассмеялся. Вскочил на ноги.

– Как был ты, Васька, мудаком, так мудаком и остался. Только теперь ещё и старым мудаком стал. Как тебя люди терпят, не пойму. Здорово, калымщик! Не узнаёшь, что ли?

Это был Васька собственной персоной. Старший сын тётки Татьяны. Мы шли к нему в Ребалду, а он нашёл нас на Секирной. Чудеса, да и только. Впрочем, никаких чудес. На Острове не так много грузовиков, а грузовиков на ходу тем паче. Васька же шоферит с девятого класса. Пятнадцать лет назад он был приписан сразу к трём бригадам артели, да ещё успевал подхалтуривать.

– Дуть меня в ухо! Двоешники! Уж кого тут не ожидал встретить, так это вас.

Васька взбежал по тропинке и бросился обниматься. Пахло от него так, как пахнет от всех настоящих северных шоферюг: густо, кондово. Он и раньше не был фактурен, а теперь как-то ссохся. Сквозь растрёпанные редкие волосы виднелась покусанная комарами лысина. Красная морщинистая шея в вороте фланельки. Огромные голубые глаза. Нос в угрях. Свёрнутый на сторону знакомый Васькин нос.

– Экие вы здоровые вымахали! И ты, Лёха, лысый, как мой фуй! Тебя, что ли, полотенцем вафельным в армии брили? Или на реакторе жопу грел?

– Васька, ты за базаром следи. Мы тут не одни, с нами дама. – Я кивнул головой в сторону сидящей на помосте Машки.

Он вытаращил глаза и в показном ужасе зажал обеими ладонями рот. Я уже начал забывать Васькин лексикончик и ужимки, а было время, когда мы с Лёхой звонили друг другу по телефону и начинали разговор Васькиным: «Дуть мне в ухо, баклан фуев! Ты что ли? Але!» Приставучая у него манера разговора. Гортанное такое кряканье. Подобным голосом озвучивали сказочных негодяев в фильмах для детей младшего и среднего школьного возраста. Однако ничего негодяйского в характере Васьки не замечалось. Разве что ходили по Ребалде слухи о его сексуальных похождениях. Но львиная доля тех слухов распускалась самим Васькой для поднятия авторитета. Жил Васька вместе с матерью в большом двухэтажном доме, построенном из добротных брёвен ещё в начале пятидесятых. Был он вечно матерью понукаем за лень и тихое пьянство, но так же нежно опекаем ей и любим. Те два сезона, что работали мы на водоросли, взял он над нами что-то вроде шефства. Обучал промыслу. Возил за продуктами. Да и просто любил он сидеть вечерами в нашем бараке и часами радостно проигрывать нам в преферанс. Он разговаривал с картами, кричал от удовольствия, если получалась длинная масть, и вообще весь расклад читался на его лице. Проигрывая, он смеялся, бежал ставить очередной чайник и начинал травить нам истории своих флотских походов. Был Васька нас на десять лет старше, в то время уже отслуживший. Три года провёл он в Североморске на минном тральщике. Насмотрелся людской глупости, на своей шкуре испытал многие подлости, да сам от того не очерствел. В свои двадцать девять любил смотреть мультфильмы. Таскал из тётки-Татьяниного буфета варенье, которое намазывал на толстые ломти булки и погло-

щал в невероятных количествах. Но больше всего на свете любил спать. Стоило на несколько минут оставить его без дела, как он тут же засыпал в самой причудливой позе.

– И чья дама? Жена? Полюбовница?

– Дама теперь вроде как Лёхина. – Я потёр переносицу и показал Лёхе язык. – Полюбовницей её не назовёшь, женой тем паче: подруга.

– Дама сердца, – поправил Лёха.

– Таких люблю. Такие самые хорошие. Зовут как?

– Маша.

– Хорошо, что не Наташа, – заржал Васька, – не люблю Наташ. Дуры они все и бляди.

– Кто тут блядь? – Машка подошла и встала за Лёхой, обняв его за талию.

– Не вы, – Васька ощерился крепкими жёлтыми резцами, – другая.

– А то я подумала, что мужики, по обычной своей манере, обсуждают меня за глаза.

– Это, Машенька, легендарный Васька – друг нашей дурной юности и повелитель всей тяжёлой техники в округе.

Васька выступил вперёд и деланно поклонился.

– Василий Леонидович Головин. Местный. Водитель автомобиля ЗИЛ.

– Марина Семёновна Эскина. Москвичка. Филолог. Прав на управление грузовым транспортом нет. – Машка сделала жеманный реверанс.

– Семёновна? Сеструха! – Васька сграбастал девушку в охапку.

– Машенька, ты с ним поосторожней, – Лёха высвободил девушку из Васькиных объятий. – Ходят слухи, что он известный сексуальный террорист. Студенток перед практикой на Острове на его счёт особенно тщательно инструктируют.

– Я уже не студентка давно. И я не думаю, что такой симпатичный молодой человек окажется сексуальным маньяком. Маньяки обычно невзрачные, пришибленные, а Василий Леонидович – орёл!

Васька зарделся от такого неожиданного комплимента. Похоже, что орлом его ещё никто не называл. Зная Васькин характер, можно было предположить, что хитрая Машка мгновенно покорила его сердце, превратив в преданного рыцаря.

– Что, Вась, очередных досок привёз, что ли? – спросил Лёха.

– Привёз. Жорика по дороге на велике встретил. Он и сказал, что подрядил бичей на разгрузку.

– Бичей? – у Лёхи от возмущения раздулись ноздри. – Сам он бич! Дьякон хренов. Служитель культа.

– Да какой он дьякон... Он и не дьякон вовсе. – Васька достал очередную сигарету и откусил фильтр. – Он вообще не священник. Дядя его в монастыре на хозяйстве. А Жорик к нему третье лето приезжает в отпуск. Ну и подхалтуривает на стройке.

– Не понял! Как не дьякон? А подрясник? Шапочка эта?

– Это у него вроде спецодежды. Ну и любит, сука, за студентками приударить. Вначале проповеди им читает, а потом сами понимаете. – Васька сплюнул меж зубов и залыбился.

– Ну что, просветлённая ты наша? – Я заржал, глядя на выражение Машкиного лица. – Поп-то оказался поддельным. А ты уже и растаяла. Вот, оказывается, кто у нас маньяк.

– Ну жучара! – Лёха с шумом выдохнул. – Я уж, между делом, подумал, что мне какие грехи за этот трудовой подвиг спишутся. А он, мерзавец такой, нас на хяляву пахать подрядил. Под попа вырядился. И ведь верные слова говорил, мазолик! Очень верные слова говорил, надрючился проповедовать.

– Это он умеет. Треплется не хуже профессора.

– Эх, в морду ему дать не успел, когда он Машку лапал.

– Рыцарь ты мой! – Машенция обняла Лёху и поцеловала в нос. – Он не в моём вкусе, да и священник.

– Так не священник же.

– А я же не знала. Мне, если честно, всё равно, священник он или не священник. Мне полегчало, когда он молитву надо мной прочёл и в воде перекрестил. И даже не важно, что он ненастоящий. Молитва была настоящая. И вода настоящая. И почувствовала я всё по-настоящему.

– Какая замечательная у вас Маруся! – Васька посмотрел на неё огромными своими голубыми глазами.

– Замечательная, – говорю, – но легкомысленная.

– Так я же девочка. Мне положено быть слегка легкомысленной. Разве я не очаровашка? – Машка наклонила голову набок и заморгала ресницами.

– Маруся, вы самая очаровательная девушка на всём Острове. Это я Вам говорю как абориген. Если бы не Лёха, я бы срочно сделал вам предложение руки и сердца!

– Васька! Не нарывайся. – Лёха шутливо погрозил кулаком.

– Всё-всё! Передумал. Тем более что я убеждённый холостяк. От баб одна суета.

– Мы, кстати, к твоей маме в гости шли. Даже с подарком. Как там тётка Татьяна поживает? – Я достал из рюкзака сковородку и продемонстрировал Ваське.

– Поживает? Отлично поживает. Она сейчас в Лебящине поживает. Каждое лето теперь катается. Валентин жениным родичам дочку на лето сдаёт. Больная она у него. А там места целебные. Сосны. Хорошо для лёгких. Ну, мать туда катается, чтобы тоже, стало быть, с внучкой побывать.

– Валентин-валентин-валентин-валентин! Ау! Где ты, мой Валентин? – неожиданно закричала Машка, облокотившись о парасет, словно вытянувшаяся вся навстречу эху.

– Что это с ней? – удивился Васька.

– Не обращай внимания. Она у нас девушка с подвывертами, хотя и хорошая, – Лёха хлопнул Ваську по плечу. – А где эта Лебящина?

– Вёрст триста отсюда. На Онеге. Это, если от Медвежьей горы, то чуть в сторону по дороге на Великую. Хорошие места. Дом прямо на озере. Вот как дочке их, стало быть, моей племяннице, три годика стукнуло, так она болеть начала. Ну, врачи рекомендовали климат сменить. Теперь там с ранней весны и до осени. Я к ним ездил, мать на машине отвозил. Ничего такая племянница. Румяная уже. Болтает без умолку. А матери тоже там хорошо. Они все вместе. И Валентин и Ольга, Ольгины родители, папашка мой. Ну и правильно, что тут на Острове торчать...

– О как, – Лёха казался явно озадаченным, – Во дела. А я, грешным делом, извиниться хотел. Да и должок отдать надо.

– Извиниться решил? Вот ведь баклан! Знаешь, как она на тебя тогда обиделась? Уехали, не попрощавшись, и баллон с собой забрали. Я когда вернулся, меня мать спрашивает про вас, а я отвечаю, что уехали. Сели на поезд и уехали. Она мне: «Как уехали? А баллон где? Вот засранцы!»

– Баллон же мы в карбасе оставили.

– Ну да, оставили. Вы бы его ещё посреди Кеми на улице оставили! Свистнули его. Я вообще подумал, что вы вместе с баллоном и смотались. Но потом почесал репу и решил, что вряд ли вы такую тяжесть потащите. Да и за каким лядом вам сральники рвать и его волохать? Хоть бы написали. Или открытку прислали. Она почему-то была уверена, что пришлёт поздравление на Новый год.

– Я хотел написать, да что-то... – Лёха погрустнел.

– Хотел-мател. Хотелка у тебя в другом месте была. Это ведь вас Кира увезла? А? Признавайся, Дон Жуан долбаный.

– Кто у нас Кира? – Машка просунула голову под Лёхин локоть.

– Кира у нас... – Лёха замялся – дела давно минувших дней.

– Сестра моя родная, которой этот саксаул голову задурил, а потом помчался за ней в Ленинград. Ну и этого с собой прихватил. Как же без этого. Одна шайка.

– Так-так. Я ревную. – Машка насупила брови.

– Машенька, тебе тогда было пять лет. И ты ещё даже в школу не ходила.

– Неважно. Мне всё равно обидно, что я у тебя не первая женщина.

Лёха пропустил Машкино высказывание мимо ушей. Он нахмурил лоб и покусывал губу.

– Кирка через два года потом приезжала. Мама у неё про вас спрашивала, а та как партизанка молчала. Что, Лёхыч, не срослось у вас с ней?

– Не помню. Наверное. Я вообще плохо помню, что у меня там и как до армии было.

– Ну-ну. Она, кстати, в Германии живёт. Уехала с мужем.

– За немца замуж вышла?

– Почему за немца? За еврея. На хрен бы она какому немцу сдалась. Двое детей у них.

Дом. Все дела. На компьютере работает.

– Программистом? – встрял я.

– Не знаю. Говорю, что на компьютере. Я в этом деле не разбираюсь. Что там на нём делают, мне до одного места. Были тут в прошлом году. Фотокарточки показывали. Хороший такой дом. Все дела. Машина – джипарь. Нормально. Он – мужик правильный, пьющий. Гришей зовут. Литрушечку с ним усидели. Наш парень, без выгибонов. На гитаре горланит, как вон Лёха. Кирка же на гитару ведётся. Толстая стала, как кобылица. Они тоже, оказывается, не знали, что мать к Вальке на лето уезжает. Ну, покрутились тут у меня пару дней, по монастырю ползали, покупались да и на Онегу двинули.

– А что, Лёха, поехали на Онегу! – Я вдруг почувствовал непреодолимое желание к перемене мест. – Надо реабилитироваться перед тёткой Татьяной. А то вон, смотрю, харя у тебя совсем скисла. Стыдно, что ли, стало?

– Есть немного. – Лёха попросил у Васьки сигарету, так же, как он, откусил фильтр и прикурил от плюющей огнём пальчиковой зажигалки.

– Может быть, так оно и правильно. Хотя, честно говоря, мне не особенно хочется ехать.

– А что изменилось со вчерашнего дня?

– Как – что? – Машка обхватила Лёху руками за плечи и попыталась запрыгнуть на спину. – Я появилась. Вся такая прекрасная, вся такая замечательная. Самая лучшая на свете я. Но и я готова ехать с вами хоть на край света. Не в Москву же мне возвращаться. Я теперь, может быть, вообще в Москву не вернусь. Возьмёшь меня, Лёшечка, к себе жить? Я хорошая. Я даже посуду умею мыть. И готовлю я очень вкусно.

– Жить к себе? – Лёха покраснел. – Возьму.

Васька хлопнул себя руками по коленкам.

– Вот это я понимаю! Совет да любовь. Вот как теперь женщины поступают. От мужика предложения не дождёшься. Да и мужик измелъчал. У тебя, Лёха, жены-то другой не имеется? А то конфликт выйдет.

– Не имеется. И не имелось никогда.

– Ты моё солнышко милое! Ты, значит, убеждённый холостяк? Вот сvezло! – рассмеялась девушка.

Мы еще немного поболтали, потом спустились к Васькиному грузовику и помогли ему скинуть доски на землю. Таскать наверх уже не стали.

## 2. Татьяна

Валентин родился на Острове. Море штормило уже неделю, и Татьяна побоялась плыть до больницы в Кеми, когда подошёл срок. «Ты уж, Андреич, меня тут освободи от живота. Что делать я знаю. Подстрахуешь только, а я уж сама», – говорила она фельдшеру. Фельдшера, двадцатипятилетнего парня, иначе как Андреичем никто на Острове не называл. Безоговорочным уважением и авторитетом стал он пользоваться ещё за год до того, как доктор Кирьянов уплыл на материк. В отличие от последнего, Андреич не считал ниже своего достоинства «тащиться» в Ребалду, если кого-то из тамошних бичей скручивали печёночные колики. Кирьянов по-первости недоверчиво читал в медицинских картах поставленные фельдшером диагнозы, но вскоре понял, что тот доктор от Бога, а поняв это, со спокойной совестью запил. Узловатый суставами, кряжистый рельефом своей мускулатуры, раскидистый в движениях как можжевельник-переросток Андреич по несколько раз в неделю пересекал Остров из конца в конец. Чаще всего пешком, поскольку больничный газик привычно чинился, напоминая поперхнувшуюся человечинной рыбу-людоеда. Фельдшер за полгода познакомился на Острове со всеми жителями и их болезнями. Он одинаково легко брался лечить застарелый пиелонефрит или удалять больной зуб. Однако роды Андреич принимал впервые. На практике в архангельском медучилище, ещё не Андреичем, а просто Сергеем, стоял он вместе со всеми студентами в родильной палате. Но одно дело теория, а другое дело – настоящие роды. Здесь пятёрка на зачёте по акушерству как-то не успокаивает. Это не клеща вытащить и не шрам на ноге зашить. Даже полостная операция по удалению перитонированного аппендицита его не пугала, а тут что-то замандражировал. Словно ища поддержку у природы, он посмотрел в окно, но белые барашки до самого горизонта оптимизма не прибавили.

– Конечно, Татьяна Владимировна. Не волнуйтесь. Дело нехитрое, – успокоил он скорее себя, нежели роженицу и подумал, что Кирьянов, пусть похмельный, сейчас очень бы пригодился. Но Кирьянова уже с декабря на Острове не было. Не было и старшей медсестры больницы – она неожиданно для всех отпросилась в отпуск и уехала с мужем в Сочи. Оставалось брать себя в руки и принимать роды самостоятельно при помощи одной только санитарки Ирочки, у которой опыта в медицине меньше чем у портрета поэта Есенина. Портрет тот, аккуратно вырезанный Ирочкой из «Огонька», с некоторых пор украшал стену процедурной. Два дня Андреич штудировал справочник практического врача и найденное в книжном шкафу «наставление по родовспоможению» четырнадцатого года издания. А на третий день родился Валентин. Всё прошло быстро, спокойно и правильно, как в реферате третьекурсника. Выскочив из палаты, Андреич на радостях совершил должностное преступление – выпил среди рабочего дня стопку неразведённого казенного спирта. Ему вдруг захотелось раскинуть руки и побежать вдоль монастырской стены, крича что-то вроде «Человек родился!» Вместо этого Андреич вышел на террасу, засунул в рот сложную комбинацию из пальцев и издал продолжительный заливный свист.

– Ух ты! Научи так! – раздалось откуда-то из-за стоящего в углу ржавого несгораемого шкафа.

– Вылезай, научу.

Десятилетний Васька, старший (теперь уже старший) сын Татьяны, выбрался на свет и доверчиво прошлёпал сандалиями к фельдшеру. Под свою заячью губу Васька запихал аж четыре пальца и теперь усиленно надувал щёки, брызгая слюной.

– Неправильно. Ты губы загни внутрь, так чтобы зубы видны не были. И вынимай свои грабли из пасти. Пальцы надо только до первого сустава класть в рот и придерживать ими губы над зубами.

– Как загищать-то? – Васька смотрел, по-щенячьи наклонив голову.

Андреич присел на корточки и стал демонстрировать Ваське технологию свиста. У парня оказался явный талант к этому делу. После нескольких неудачных попыток он издал такой наглый разбойничий свист, что у фельдшера заложило правое ухо.

– Вот это да! Молодец! – он протянул Ваське ладонь и тот пожал её мокрыми от слюны пальцами. – Научился свистеть в день рождения брата. Теперь никогда не забудешь!

– А можно в день рождения-то? Мать говорит, что если свистишь, то денег не будет. Вдруг у него от моего свиста денег не будет?

Андреич удивился парадоксальности детского мышления. Надо же. Такой маленький, а уже заботится о будущем благосостоянии только что рождённого брата, которого ещё и не видел.

– Думаю, что это всё суеверия. Ты в Бога веришь?

– Не-а. Кто ж в него верит-то? В космос летают, нет там никого. Не верю, конечно.

– Ну вот. А почему веришь, что если свистишь, то денег не будет?

– Говорят же.

– Много всяких глупостей говорят. Ты свисти, если тебе нравится и если ты никому своим свистом не мешаешь. Я же не боюсь свистеть.

– А у тебя много денег?

– Ну, не особо. У фельдшера зарплата небольшая.

– Вот! А может быть, всё потому, что свистите, – Васька никак не мог выбрать, как обращаться к Андреичу: на ты или на Вы. – Не свистел бы, так и зарплату повысили, или были бы не фельдшером, а профессором, как дядя Боря. Знаешь сколько он получает?

– Сколько? – заулыбался Андреич.

– Много. У него в Москве есть «Волга». Он мне фотографию показывал. Классная машина. И не такая, как такси. Такси другие. А это новая «Волга», у неё не только кузов другой, но и мотор, – Васька осекся, – ну, то есть двигатель другой совсем. Называется ЗМЗ 24Д. Девяносто восемь лошадиных сил. У неё скорость сто сорок пять километров в час. Там передняя подвеска на пружинах с поперечными тягами и этими, – Васька наморщил лоб, – телескопическими амортизаторами.

– Здорово в технике разбираешься. Нравится?

– Ага.

– Инженером будешь, когда вырастешь?

– А инженеры на машинах ездят?

Андреич представил себе инженерскую зарплату и покачал головой.

– Ездят, но редко.

– Не. Не буду я инженером. Да там и учиться надо долго. Математика эта дурацкая. Вообще-то, я уже давно выбрал, ещё когда маленький был. Буду шофером, – Васька сделал ударение на первый

слог. – Они ого-го как заколачивают. И свисти не свисти, а деньги всегда будут.

Фельдшер в очередной раз поразился рассудительности парня в денежных вопросах. Ему подумалось, что, выбирая профессию врача, сам он о деньгах вовсе и не помышлял. Ещё в детстве до щекотки в носу нравился запах, который исходил от их участкового, когда тот совсем не больно и необидно, а так по-дружески шелкал Сергея по носу. Участковый снимал в прихожей шубу и в белом накрахмаленном халате проходил в комнату бабушки. Проходил мимо него, прижавшегося к кухонной двери, и шелкал по носу. И всё. Ничего больше. И уже мечта о таком же белом халате, о таком маленьком, словно детском, кожаном чемоданчике. «Дышите. Не дышите. Задержите дыхание. Покашляйте. Где болит? Принимать по столовой ложке перед едой. А эти таблетки после еды три раза в день», – это из бабушкиной комнаты доносится. И там спокойно всё. И всем в доме спокойно. Врачом он, впрочем, пока не стал. Стал фельдшером. Но здесь, на северах, между этими понятиями давно поставлен знак равенства. А прак-

тика, которую Андреич уже успел набрать на Острове, стоила и тех трех курсов первого медицинского в Ленинграде, что он закончил, и тех трёх, которые ещё остались на потом.

Учиться всегда успеется. Лечить надо, а то люди болеют.

– Андреич, а Этот будет долго с матерью в больнице? – Васька длинно сплюнул между широко разбежавшихся передних зубов и склонил голову набок.

– Три дня. А тебе зачем?

– Как зачем? Я, пока мать тут лежит, в Петрик к отцу смотаюсь.

– Мать всё равно узнает. Попадёт тебе.

– Не, ей не до этого будет. Попадёт, конечно, но скорее для порядка. Большого скандала она мне не закатит. И дома точно не запрет. Кто ей для Этого продукты отсюда возить будет? Так что дело бесприкрытое. Если, конечно, не заложишь.

Фельдшер пообещал, что сохранит его планы в тайне, и ушел к себе заполнять медкарту. Оставшись один, Васька набрал воздуха в лёгкие и свистнул от души.

С первым своим мужем, отцом Васьки, Татьяна развелась уже давно. Развелась и вернулась обратно на Остров, не найдя повода и возможности остаться в городе. Петрозаводск ей не нравился. Когда выходила замуж за своего Лёнчика, про быт да работу особенно не думала. Мнилось ей, что после свадьбы всё должно у неё быть хорошо, или не хуже, чем у других. Лёнчик – красавец, даже заячья губа его не портила. Высшее образование – ленинградская «Макаровка». Дом, полный дефицита и заграничной красоты, нажитой в те времена, когда Лёнчик ходил в загранку. «Времена» оказались совсем короткими: всего-то пять рейсов (списали по состоянию здоровья), но и их хватило, чтобы дом казался респектабельным.

Познакомились они на Острове. Лёнчик завербовался на сезон в артель и среди остальных шатии выделялся особенной статью, за которой чувствовалась если и не белая кость, то уж точно какая-то трагическая история. История была. Не такая трагическая, но была. По неуравновешенности характера набил он как-то лицо парторгу в Роттердаме на глазах всего порта. Весь рейс тот придирался, а молодой третий помощник копил в себе брезгливое отвращение. Потому на справедливое замечание о «расхристанном внешнем виде в порту капиталистического государства» ответил Лёнчик серией профессиональных боксерских пассивных сочных матюгами. Поставил на чистый асфальт полные ливайсов и адидасов спортивные сумки и врезал. И слева врезал, и справа, и даже снизу, разбив парторгу нос, сломав челюсть в двух местах и повредив ухо. После чего поднял сумки, аккуратно сплюнул жвачку в урну и поднялся по трапу. Если бы не старпом, который уговорил капитана замять дело, договорился с врачом и уложил Лёнчика в изолятор с липовым диагнозом «психопатия», светило бы парню что-то очень нехорошее из меню, предлагаемого уголовным кодексом. Прямо с парохода отвезли Лёнчика в клинику на освидетельствование. Вбили диагноз в справку и отправили на ВТЭК получать третью группу инвалидности из-за проблем с головой. Из парходства списали окончательно, но с хорошей характеристикой. Даже парторг уверовал в Лёнчикову болезнь, ибо какой человек в здравом рассудке, по трезвости и по собственной воле порушит себе карьеру? Парторг ходил по Мурманску с гипсовой повязкой, завязанной бантиком на макушке, и по поводу произошедшего сетовал, что, дескать, жаль ему парня. Хороший, мол, парень, перспективный, но слетел с катушек. Пусть теперь на берегу лечится. Лёнчик собрал манатки и уехал домой в Петрозаводск. Как раз освободилась дедова квартира. С работой Лёнчик решил особенно не спешить, благо деньги были, а бюллетень ему выписали аж на полгода. Но приятели уговорили завербоваться в артель на Соловки. Там они с Татьяной и сошлись.

За три года до того закончила она Архангельский техникум. Могла работать хоть бухгалтером, хоть в плановом отделе. В Ребалду, в артель, попала по распределению, да так и осталась. Нравилось ей простая и понятная жизнь поселка. Нравился Остров с его неспешной колготней. А в Петрозаводске её тяготила суета и общая никчемность существования. Не чувствовала

она в городе того внутреннего смысла, что пульсировал, скажем, в Архангельске или Мурманске. И даже розовый родонитовый берег Онеги казался ей издёвкой, подменой другого – морского. Детство Татьяна провела в приюте небольшого поселка на Белом море. До этого детства было что-то ещё, но в памяти на его месте лишь громоздились цветные бесформенные облака, обрывки запахов, звуков.

Родителей Татьяна не помнила. Даже не знала, как их зовут. Когда повзрослела и стала что-то понимать, поняла и общую причину этого своего сиротства. В пятьдесят пятом ей исполнилось шестнадцать. Вместо метрики для техникума выдали справку о том, что Соловьева Татьяна Владимировна поступила в Кандалакшский детский дом четырнадцатого апреля сорок первого года в возрасте двух лет. День рождения – четырнадцатого апреля тридцать девятого. Место рождения – Кандалакша. Она и праздновала свой день рождения четырнадцатого. Лишь только после того, как получила справку, задумалась о том, что, может быть, она и не Татьяна вовсе.

Люди возвращались из лагерей. Трех её подружек по детскому дому отыскивали отцы. Самую любимую – Ленку, ту с которой они сидели рядом в классе, забрал с собой высокий тощий человек с такими же, как у Ленки, огромными серыми глазами и длинными пальцами. Он вошел в класс во время урока химии вместе с директрисой. Из двадцати девочек сразу нашёл глазами Ленку. И та вскочила, хлопнула крышкой парты и бросилась, рыдая, к нему. Как поняла, что он – отец? Откуда? С таких же двух лет сиротою жила, ничего про родителей не знала.

Очень глубоко внутри сознания Татьяна надеялась, что и к ней вот так же однажды придет некто. Обнимет, потреплет по светлым её волосам, прижмет к небритой сухой щеке. Почему-то именно эта небритая щека представлялась ей главным в родительском существе «отец». Или папа? Она никогда не говорила «мама» и «папа». Всегда «мать» и «отец». Обезличенно, вне эмоций, не от своего имени. Что-то непонятое, из жизни других людей, существующее как абстракции или свойства персонажей литературных произведений. Стоит ли печалиться и сожалеть о том, чего у тебя никогда не было? Татьяна не знала, что значит «хотеть к маме», никогда не испытывала этого иррационального чувства, или испытывала, но забыла. Было много взрослых, так или иначе принимавших участие в Татьяниной судьбе. Иногда авторитеты этих взрослых сталкивались в сознании девочки, заставляя выбирать между чужими правдами. Но рационально. Холодно. По-детски меркантильно. И только когда уехала Ленка, когда сдуло дегтярным перронным ветром с Татьяниной щеки щекотку Ленкиных волос, только тогда и появилось неоконченность, одиночество.

Лёнчик кочевал с одной работы на другую, особенно нигде долго не задерживаясь. Одно радовало, что почти не пил. На каждом новом месте он браво принимался за дела, начал ходить на собрания, делать рационализаторские предложения. Получал премию, вторую, третью, вывешивался на доску почета. Но вскоре задор пропадал. Лёнчик впадал в апатию, ленился, забывал ходить на службу и увольнялся по собственному желанию, когда с ним уже готовы были распрощаться за прогулы. Потому регулярным кормильцем в доме получалась жена. Ей повезло – подружка по техникуму устроила в плановый отдел геологического института. Платили хорошо. Вместе с регулярными надбавками выходило в месяц до двух после-реформенных сотен. На эти деньги можно было прожить с сыном и с мужем—лоботрясом. Лёнчика такое положение дел устраивало. Он мог месяцами жить на диване перед телевизором «Грюндик» с белыми кнопками, смотреть дневные обучающие программы, курить дорогие болгарские сигареты в твердых пачках и рассуждать о том, что на лето опять завербуетесь в артель либо поедет с геологами в партию. Но планы так и оставались планами, только в трудовой книжке стремительно заканчивались страницы. Татьяна приноровилась брать халтуры по перепечатке научных работ и диссертаций. Она использовала для этого рабочую пишущую машинку, потому задерживалась допоздна.

У института имелся свой детский сад. Каждое утро Татьяна отводила туда маленького Ваську, а Лёнчик забирал его вечером. Эту трудовую повинность выполнял он с охотой. Забрав сына, Лёнчик шёл в любимую кафешку на Куйбышева, где давали сосиски и бутылочное пиво. Там отец с сыном проводили полчаса, после чего спускались до набережной, смотрели на Онегу, а после уже отправлялись домой. Лёнчик с Васькой разговаривал. Он находил в сыне замечательного собеседника, который не спорит и не противится вечным Лёнчиковым рассуждениям о жизни, о тщетности подневольного труда и необходимости внутренней и внешней свободы. Впрочем, речи те окружающим тоже не казались речами якобинца, а походили на инфантильные мечты фрондёра и романтика, повесившего у себя над кроватью портреты Хемингуэя и Че. Васька же был настолько мал, что смысла не улавливал, а просто млеет от потрескивающего морозцем отцовского голоса. Он смотрел на автомобили, едущие по улицам Петрозаводска, и говорил или «мафына», или «пабеда», или «гузовик». Принюхивался к запаху выхлопных газов и норовил поднять с земли ржавую гайку. Жизнь механизмов интересовала его много больше жизни людей. Домашние скандалы тоже его не трогали. Васька забирался на огромный желтый шкаф, где у него был оборудован плацдарм, и в сотый раз откручивал колеса игрушечного грузовика.

Скандалы случались все чаще. Инициатором всегда выступала Татьяна. Она понимала мелочность своих претензий, но ничего не могла поделать с ежедневно поднимающейся в ней волной раздражения. Лёнчик сперва отшучивался и называл Татьянины всплески «самоиндустрированием», потом стал спорить, а к концу их семейной жизни только огрызался и замыкался. Иногда, в самом начале скандала, предупреждая первый шквал, он подхватывал Ваську и уходил с ним гулять в парк или на горку. Татьяну такая реакция возмущала ещё сильнее. Она нервно кружила по квартире в тщетном поиске немытой посуды, невыброшенного мусора или оставленных «не на месте» вещей. Искала, чтобы сорвать на них злость. Не находила и плакала, понимая, что по большому счету неправда. В квартире Лёнчик поддерживал флотский порядок. Всё лежало на своих местах, кроме самого Лёнчика, конечно. Татьяна плакала, но облегчения слезы не приносили. Единственная петрозаводская подружка, видя Татьянино состояние, называла Лёнчика козлом. Но каких-то аргументов, которые могли бы эту формулировку подтвердить, не приводила. Сама Татьяна тоже не могла понять, что именно её не устраивает. Лёнчика ей было жалко. Но ещё более жалко ей было себя и Ваську. Ваську жалко из-за того, что она не добавала ему материнского общения. А себя она жалела, потому что жизнь свою представляла иначе, осмысленнее. Когда во время очередной тягучей и никчемной кухонной склоки Лёнчик в сердцах предложил «Может быть, лучше разведёмся?», Татьяна аккуратно поставила на полку чистую тарелку, вытерла руки полотенцем, повернулась к мужу и сказала, что да – она согласна. Лёнчик сказанное в шутку не перевёл. Она тоже.

Никогда позже она не жалела о своем решении, хотя о бывшем муже с годами вспоминала всё теплее и теплее. Узнавала у знакомых о его жизни. Писала поздравительные открытки на Новый год и на день рождения. С оказией передавала в Петрозаводск копченую треску. Когда Лёнчик приезжал на недельку, всегда отпускала с ним Ваську. Они бродили по Острову, ловили рыбу в озерах, шарились по монастырю или отправлялись встречать рассвет. Даже когда в её жизни появился Борис, она не переставала помнить о Лёнчике и мысленно о нём заботиться. Идеи их познакомить, впрочем, не возникало.

Борис возник неожиданно. Огромный. Раскатистый. Щедрый на себя. Умный неместным парадоксальным умом. Никак не принц. О принцах Татьяна не мечтала – не умела. Король из чужой страны, собирающий народы, одаривающий землями, вершащий историю. Словно древние властители со страниц всех прочитанных книг выписали охранные грамоты и обеспечили его армиям проход по своим территориям. Во главе арьергарда гвардии – ремесленников ума, подвижников, горлопанов, в зените любви юных студенток-одалисок. Археолог. Профессор. Сразу на ты, а не обидно.

Татьяна влюбилась, и это её напугало. Напугало не то, что Борис был на двадцать пять лет старше, не то, что женат, что сын его лишь немного младше самой Татьяны, не то, что могут как-то не так посмотреть окружающие. Она просто испугалась чувства – незнакомого, сильного, всю ее себе подчиняющего. Единожды прижал он её к своей шершавой и щекотной щеке, и всё. Почувствовала она себя женой, пленницей, женщиной. И всех прав-то у неё оказалось: любить и дожидаться, встречать и провожать. С сентября, когда уезжали экспедиции, пропадали с Острова залетные работяги, отправлялись в Петрозаводск и Мурманск сезонники, начинала она писать письма. Письма до востребования на московский Главпочтамт. Письма на листочках в клетку, аккуратно вынимаемых из скрепок толстой тетради. Писала она округлым своим красивым почерком. Слова запирались в лёгких этих бумажных клетках, чтобы навсегда оставаться там и рассказывать далёкому и милому её Борису о всём, что казалось ей важным. Татьяна писала об Острове, о сырой манке тумана, скрывающей ржавые купола монастырского храма. Писала о северо-западном ветре, нагоняющем на Остров низкие и тяжёлые долгой водой облака. О собаках, вырывающих себе ямки в пыли у магазина и смотрящих вслед каждому, кто спускался вниз с холма, ласковым прощающим взглядом. О сухом и хлопотливом клёкоте воды между ржавыми карбасами в шлюзе. О другом, отчаявшемся стремиться в небо и рушащемся в шхерах брызгами эха звуке пароходного колокола. О чертинках дождя на стекле в конторе. Сверху слева, вниз направо, потом сверху справа, вниз налево: крестики. О вкусе можжевелевой ягодки, которую она катала во рту, пока шла от Ребалды до посёлка. И о вкусе карамельки «дюшес», сменявшей ягодку на обратной дороге. Татьяна не старалась показаться умнее и лучше, чем она есть. Она просто почувствовала, что может и должна теперь делиться всем своим самым важным с другим человеком. И этот человек, её человек, её великий и всепрощающий, всепонимающий государь готов читать Татьянину жизнь в строках и между строк.

Первым их летом она раз в три дня садилась в лодку и плыла на Заяцкие, где стояла лагерем партия. Она появлялась под вечер, когда все студенты уже сидели на сооружённых из высохшего топляка скамьях вокруг костра и, слегка покачиваясь, протяжно пели что-то красивое. Татьяна проходила под тент, накрывающий импровизированную столовую, кивала дежурному, доставала амбарную книгу и делала вид, что сверяет количество продуктов на складе с каким-то ей одним ведомым реестром. Дежурный уходил, и почти сразу появлялся Борис. Он деловито потирал ладони и спрашивал нечто вроде: «Ну, что тут у нас?» Они какое-то время вели «деловую» беседу, после чего Борис брался проводить Татьяну. Скрывались за перегибом каменистого берега и оставались одни. Только гладкое, розовое море, только стелящийся у самого берега дымок и больше никого. Руки, губы, плечи, глаза. И ещё слова, которые шептались. И шепот этот вплетался в остальные шорохи летнего берега Белого моря, как вплетается праздничная лента в косу девочки. Ай, умница... Ай, красавица...

Потом она плыла к посёлку, ловко работая вёслами, и внутри у неё ещё жило теплом, ещё кипело, дышало. Она привязывала лодку возле ангара, забирала спрятанный в сарае велосипед и ехала к себе в Ребалду. Ехала по притихшей лесной дороге, вдыхала щедрый запах разнотравья и улыбалась. Лязг провисшей цепи, скрип пружин под седлом старой «Украины», хлопоток ветра на концах шёлкового платка и небесный оркестр тишины и счастья. Пусть женат. Пусть есть сын. Но сын уже взрослый, ему Борис уже не нужен. А Татьяне нужен. Татьяне никто никогда в её жизни не был так нужен, как этот мужчина. В нём за такой короткий срок сошлись все Татьянины тайные желания, все нереализованные мечты, все фантазии, сны, надежды. Быть рядом, пусть не всегда, пусть рядом только душами, но рядом. Словно бы свет жизни, которой она заслуживала, для которой была рождена и которую у неё отняли вместе с родителями, вдруг проник в её сознание и сердце. И стала она иной. Не той маленькой девочкой и не той, что училась в техникуме, и вовсе не той, что выходила замуж. Она стала незнакомой даже для себя, но такой, за какую и сама порадовалась бы.

Три года прожила она здесь в умиротворении с собой и с сыном. В работе на полторы ставки, в строчках артикулов и столбиках цифр. Три года на понимание, что её судьба – это судьба матери-одиночки, женщины для уважения, а не для чувственности. Она с самого своего возвращения на Остров смогла поставить себя в стороне от интриг и чужих матримониальных троп. Строгость с сезонниками, подчеркнутое уважение к местным. Никаких взглядов, никаких шуток, никаких танцев. Серьёзная молодая женщина, занимающаяся важным делом, ответственный работник, хороший товарищ, надёжный сотрудник. Самообразование: книги из библиотеки, журналы «Наука и религия», «Химия и жизнь», заметки в тетрадках, выписки, цитаты. Сын всегда под присмотром, даже когда она в конторе. Раз в два часа она проходила сто метров до их дома, проверяла, как он там. А по вечерам – чтение книг вслух, игры. На выходных – гуляние по островным лугам, сбор гербария.

Первый гербарий они собирали, когда Ваське исполнилось пять лет. Собирали всё лето, засушивали между страницами толстого кирпича полного математического справочника. Искали каждое растение вдвоём, по двухтомному определителю растений, взятому в библиотеке. Пришивали суровой ниткой к листочкам картона, подписывали. Подписывал сам Васька. Татьяна просила его вначале тренироваться на отдельном листочке выводить сложное латинское название, потом только аккуратно вписывать шариком в разлинованные графы на картоне. К пяти годам Васька уже свободно читал детские книжки и мог даже произнести латинские названия, хотя и не понимал, что это такое. Запомнить и связать латынь и цветы Васька оказался не в состоянии. Для него тысячелистник был тысячелистником, шалфей шалфеем. «Ничего, – думала Татьяна, – главное, чтобы хорошим человеком вырос. А вырастет хорошим. Я это чувствую. Я его не отпущу». Ей казалось, что только выберется он из под материнской опеки, так сразу начнётся непрекращающаяся война за его душу. С кем? Со всеми, со всем миром, которому на Ваську наплевать. Как наплевать было на неё. И даже все эти пионерские сборы её детства в Кандалакше, комсомольские собрания в Архангельске – это всё было ложью и неправдой. Много-много слов, от которых она не становилась лучше. И ей всегда казалось, что, последуй она всем советам, что давались ей в течение жизни, стала бы она отменной стервой.

Но что поделывать, в школу она отдала Ваську, когда тому ещё не исполнилось семь. Однако самым маленьким в классе он не оказался. Учились ребята и младше. В школе был один первый класс, один второй, один третий, два четвертых и дальше вплоть до восьмого класса по одному. Детей в школе на Острове совсем немного. Да и откуда им здесь взяться в достаточном количестве? Молодых среди учителей не водилось, разве что на время приплывали практиканты из педагогических вузов. Но те считали дни до своего катера. Самой молодой – химичке, она же биологичка, – недавно исполнилось сорок три. А первой учительницей у Васьки случилась вдова бывшего заместителя начальника СЛОНа, «вечная девушка» Василина Яковлевна. Ей было под семьдесят, но она носила голубого цвета парик, густо красила брови и пахла духами. На последнем в году родительском собрании она привела в пример Василия Головина, как мальчика, наделенного многими талантами, но вместе с тем разгильдяя, каких свет не видывал.

– Чувствуется, что ребёнок растёт без мужской руки. Одним материнским воспитанием сделать из человека Человека очень трудно, – Василина Яковлевна грузно нависала над учительским столом. – Вы, мамаша, не ограничивайте общение мальчика с отцом, тем более я в курсе, что он имеется и в здравии. Вот, каникулы наступают. Думаю, что ребёнку будет полезно повидаться с родителем, пообщаться. Польза от такого общения обширная. И, прежде всего, она заключается в том, что ребёнок копирует социальное поведение отца и тем самым готовит себя к адаптации в обществе. Если ваша жизнь не сложилась, – тут учительница посмотрела на Татьяну с излишним значением, – это не повод лишать мальчика полноценной социальной роли, которую ему придётся в дальнейшем играть. Ваш Василий не по—мужски несобран, рассредоточен в собственном внимании. Дети в его возрасте уже прекрасно знают

всю свою жизнь вперёд, имеют мечты. Ваш же пока, как мне кажется, питает иллюзии. Ребёнок полагает, что с выбором жизненного пути торопиться не следует. Это пассивная, инфантильная, явно наведённая женская жизненная позиция.

Татьяна с трудом удержалась от того, чтобы не сдерзить. Вся эта проповедь решительно ничего не стоила. И она прекрасно понимала, откуда что берётся. Сын Василины Яковлевны в первый год по возвращению Татьяны на Остров имел на неё виды. Приезжал в Ребалду через день и пару часов проводил в плановом отделе, распивая чай и травя байки. Но безрезультатно. Татьяна этих ухаживаний демонстративно не замечала. Подруги-коллеги качали головами, понимая, как малы у мужика шансы. Татьяна – высокая, статная, фигуристая, с собранными в аккуратный пучок светлыми волосами – и неказистого вида рябой мужичонка – заведующий ремонтной мастерской на пару не походили. И когда он в трюме идущего в Кемь баркаса попытался прихватить Татьяну за талию, то получил такую осмысленную и отрезвляющую оплеуху, что все находившиеся рядом даже не засмеялись, а заплодировали.

Но в то лето она всё же отправила Васюку к отцу. Лёнчик сам приехал за сыном, с огромными планами посетить Ленинград, Таллин, Ригу и Калининград, где жили и работали Лёнчиковы однокурсники. Потом он намеревался поехать на родительскую дачу, что на другом берегу Онеги, к бывшей Татьяниной свекрови – Васькиной бабушке. Свекровь во внуке души не чаяла, баловала как могла. Всю жизнь она отработала учительницей в школе и имела тягу к домашнему воспитанию. Впрочем, в годы совместной с Лёнчиком жизни Татьяна старалась к добровольной помощи родственников не прибегать – подсознательно боялась упрёков. А теперь Татьяна рассудила, что мальчику нужны новые эмоции да впечатления, и после недолгих колебаний отпустила.

– Ты только не позволяй ребёнку копировать твоё социальное поведение, – сказала она бывшему мужу на прощанье, когда тот стоял на борту готовящегося отчалить катера, чем привела Лёнчика в недоумение.

– Это ты к чему сейчас?

– Ни к чему, – отмахнулась Татьяна. – Это я так, сама с собой разговариваю. Не корми его мороженым, не позволяй не спать после девяти вечера и...

Мотор катера заработал, раздался гудок, и Татьянины наставления разметало вместе с брызгами по причальной стенке. Васюка долго-долго махал рукой стоявшей на берегу матери, пока катер не скрылся за островом. И в тот же день появился Борис. В тот же час появился Борис. Он уже был рядом. На уходящий катер он только что посадил двух своих аспирантов, отправляющихся в Москву, в университет, с деревянными вьючниками камней и косточек. Теперь он стоял у начала пирса и о чем-то оживлённо беседовал со старшиной милиции Чебреяком.

– А, вот, Головина вам поможет! – Они заметили медленно идущую по дорожке Татьяну. – Татьяна Владимировна, подойди к нам, разговор есть. Ты же у нас и плановик, и бухгалтер—профессионал, а здесь проблема образовалась у археологов. У них три отряда работает, а отчётность общая. Надо помочь. И деньги платят. А тебе как матери-одиночке деньги никогда не помешают. Вон, Васюке форму школьную надо покупать новую. Он за год вымахал, руки из куртки торчат. Правильно я говорю, Борис Аркадьевич?

Высокий, огромный, с рельефным обветренным лицом, седыми волосами, аккуратно подстриженной (под Хемингуэя) бородкой. Мужчина из фильмов про мужчин, из журналов «Юность» про мужчин. Мужчина, которого старшина назвал Борисом Аркадьевичем, вдруг неожиданно бросился к Татьяне, схватил её за руки, заглянул в глаза.

– Будьте нашим бухгалтером, Татьяна Владимировна! Умоляю! Прошу вашей руки, вашего опыта и совсем немного вашего времени! Взамен требуйте чего угодно! Всё исполню.

И что тут случилось с Татьяной, она и сама потом не могла определить. Как сорвалось у неё с языка то, что сорвалось. Какие бесы или какие ангелы её устами заговорили. Но только,

не вынимая своих рук из рук этого невесть откуда взявшегося чужого, пока ещё совсем чужого мужчины, она твёрдо и уверенно произнесла: «Хорошо. Если можно просить всё что угодно, то прошу вас быть моим мужем».

Чеберяк с удивлением вскинул на Татьяну взгляд и покачал головой. А Борис раскинул руки в стороны, обнял её и прижал к шершавой и щёкотной своей щеке. На мгновение. На малую секунду. На ту самую, после которой всё стало иначе.

### 3. Валентин

В Москву Валентин приехал в июне восемьдесят седьмого. Приехал один, выдержав многодневное сражение с матерью, уговаривающей ехать вместе. Ей так спокойнее, когда она рядом, да только помочь вряд ли чем сможет, а позору будет... Нет уж, взрослый человек – значит, взрослый человек. Ему же только один экзамен сдать, школа-то с золотой медалью. Сдавать надо специальность – историю. А историю он сдаст. Историю он лучше студентов пятого курса знает, лучше аспирантов. Для него история не «было», для него история сейчас и вокруг него, он внутри неё. Каждый свой день от княжих грамот считает. Зря, что ли, он год просидел над университетскими учебниками? Он с восьми лет на раскопе, с двенадцати в монастыре на реставрации. Он трёхтомник Ключевского ещё в пятом классе прочитал, самое интересное выписал в тетрадку. Выписал своим мелким, скопированным с отцовских писем почерком. Потом за два года всего Соловьёва, параллельно европейскую историю средних веков, потом новую. Дядя Сеня его лично в прошлом году экзаменовал, когда к матери в отпуск приезжал. Часа два мучил на глазах у семьи. Гонял по всей линейке вниз и вверх, по всем странам вдоль и поперёк. Везде Валентиновы полки стоят, везде гарнизоны знаний, крепости прочитанного, форты понятого, секреты угаданного. Мать с Кирой на диване сидят, лица счастливые, чуть ли не в ладоши хлопают. Васька к дверному косяку прилип, глаза тарашит. Гордится братом. Звёздный час, ей-богу! Дядя Сеня тогда из-за стола встал, к Валентину подошёл, поднял его за плечи, лицом к матери повернул: «Вот, Татьяна, Борис бы порадовался. Весь в него парень. Память феноменальная, упорство грандиозное. Ещё бы мускулов нарастить на эти кости, а то шуплый он какой-то, как городской». Ну, про шуплого дядя Сеня, конечно, перегнул. Валькин скелет оплетали упругие, сухие мышцы йога. Ежедневно в течение четырёх лет тренировал он своё тело специальными дыхательными упражнениями, гимнастикой из перепечатанной и переснятой на фотобумагу американской книжки про восточные практики. Умел расслабляться за считанные секунды, скидывая с себя усталость и напряжение, и за такие же секунды превращаться в электрический разряд, в шаровую молнию. Через день вечерами бегал от Ребалды до монастыря без остановки и передышки, не замечая расстояния. Да и в драках мог за себя постоять. Впрочем, драки случались редко. Было во всём Валькином облике что-то столь цельное, такое монолитное, дремучее, что чувствовали даже отпетые бузотёры. Чувствовали и лишний раз не заводились.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.